

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Жорж
Сименон

ТРИ КОМНАТЫ
НА МАНХЭТТЕНЕ

«ИНОСТРАНКА»

Иностранная литература. Большие книги

Жорж Сименон

Три комнаты на Манхэттене

«Азбука-Аттикус»

1940, 1941, 1946, 1948, 1950, 1952, 1965, 1967

УДК 821.133.1
ББК 84(4Бел)-44

Сименон Ж.

Три комнаты на Манхэттене / Ж. Сименон — «Азбука-Аттикус»,
1940, 1941, 1946, 1948, 1950, 1952, 1965, 1967 — (Иностранная
литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21541-2

Книги Жоржа Сименона известны всему миру. По количеству переводов он разделяет первые места с Гюго и Жюлем Верном. Мастер детективного сюжета, невероятно плодовитый писатель (более 400 опубликованных произведений!), создатель одного из самых обаятельных сыщиков XX века – комиссара Мегрэ. В настоящий сборник вошли восемь известных романов Сименона разных жанров: детективные истории, остросюжетные триллеры, психологические драмы, а также изящная история любви и одиночества «Три комнаты на Манхэттене», ставшая одним из эталонов жанра благодаря экранизации Марселя Карне (1965 г., главные роли исполнили Анни Жирардо и Морис Роне).

УДК 821.133.1
ББК 84(4Бел)-44

ISBN 978-5-389-21541-2

© Сименон Ж., 1940, 1941, 1946, 1948,
1950, 1952, 1965, 1967
© Азбука-Аттикус, 1940, 1941, 1946,
1948, 1950, 1952, 1965, 1967

Содержание

Неизвестные в доме	6
Часть первая	6
I	6
II	15
III	23
IV	31
V	39
VI	48
VII	57
Часть вторая	66
I	66
II	74
III	83
IV	91
V	98
Дождь идет	102
I	102
II	111
III	119
IV	126
Конец ознакомительного фрагмента.	135

Жорж Сименон

Три комнаты на Манхэттене

Georges Simenon

LES INCONNUS DANS LA MAISON

Copyright © 1940, Georges Simenon Limited

IL PLEUT BERGÈRE...

Copyright © 1941, Georges Simenon Limited

TROIS CHAMBRES À MANHATTAN

Copyright © 1946, Georges Simenon Limited

LE FOND DE LA BOUTEILLE

Copyright © 1948, Georges Simenon Limited

LES FRÈRES RICO

Copyright © 1952, Georges Simenon Limited

LE TRAIN DE VENISE

Copyright © 1965, Georges Simenon Limited

LE CHAT

Copyright © 1967, Georges Simenon Limited

GEORGES SIMENON ®

© Н. М. Брандис (наследник), перевод, 2022

© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 2022

© В. Н. Курелла (наследник), перевод, 2022

© Ю. П. Уваров (наследники), перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

Неизвестные в доме

Часть первая

I

– Аллю! Это Рожиссар?

Прокурор стоял в нижней рубашке возле постели, а с постели на него взирали удивленные глаза супруги. Прокурору было холодно, особенно мерзли ноги. Звонок поднял его так внезапно, что он не успел нащарить ночные туфли.

– Да, а кто его просит?

Он нахмурился и повторил специально для жены:

– Лурса? Это вы, Гектор?

Заинтригованная разговором супруга прокурора, высвободив из-под одеяла длинную, неестественно белую руку, взяла отводную трубку.

– Что? Что?

Голос адвоката Лурса, доводившегося двоюродным братом супруге прокурора, невозмутимо продолжал:

– Я только что обнаружил у себя в доме незнакомого субъекта... На кровати на третьем этаже... Он как раз скончался, когда я вошел... Хорошо бы вам заняться этим делом, Жерар... Все это ужасно неприятно... По-моему, тут явное преступление...

Когда прокурор повесил трубку, Лоранс Рожиссар, которая терпеть не могла своего кузена, небрежно проронила:

– Не протрезвился еще!

В этот вечер все, казалось, было как обычно, пожалуй, еще и потому, что под струями проливного дождя все застыло, оцепенело. Холодный дождь – предвестник зимы – прошел в этом сезоне впервые, и кино на улице Алье пустовало, если не считать двух-трех влюбленных парочек. Кассирша, без толку мерзнувшая в своей стеклянной клетке, с отвращением поглядывала на дождевые капли, поблескивавшие в свете электрических фонарей.

Мулэн был именно таким, каким полагается быть Мулэну в октябре месяце. В «Отель де Пари», в «Дофине», в «Алье» за табльдотом обедали коммивояжеры, и им прислуживали официантки в черных платьях, черных чулочках и белых фартучках; изредка по улице проезжала машина, направляясь не то в Невер, не то в Клермон, а может быть, и в Париж.

Жалюзи магазинов были опущены, на вывески щедро лилась с неба вода – лилась на огромную красную шляпу над магазином Блюше, на гигантский хронометр над магазином Теллье, рядом с которым красовалась золотая лошадиная голова – знак того, что здесь торгуют кониной.

За домами просвистел монлюсонский местный поезд, увозивший всего с десяток пассажиров.

В префектуре давали ежемесячный обед на двадцать персон, громко именуемый «банкетом», на который неизменно собирались всегда одни и те же приглашенные.

Редко-редко попадалось не закрытое ставнями окно, а за ним – освещенные электрическим светом фигуры. И в этом лабиринте улочек, до блеска отлакированных дождем, шаги редких прохожих звучали как-то робко, чуть ли не конфузливо.

Стоявший на углу улицы, облюбованной нотариусами и адвокатами, дом Лурса – точнее, Лурса де Сен-Мара – выглядел еще более сонным, чем его соседи, или, вернее, более таинственными казались два его крыла, отделенные от улицы высокой стеной, мощеный двор, где посреди пустого бассейна красовался Аполлон, из его уст с зажатой в зубах трубочкой уже не била струя воды.

В столовой, помещавшейся на втором этаже, сидел сам Гектор Лурса, подставив сутулую спину теплу камина, откуда наползал в комнату желтоватый дым от еле тлевших брикетов.

Нынче вечером у Лурса были точно такие же, как и всегда, – ничуть не больше и не меньше – мешки под глазами и все такие же студенистые зрачки, что придавало его взгляду неопределенно-тревожное выражение.

Стол был круглый, скатерть – белоснежная. Сидевшая напротив Лурса его дочь Николь старательно жевала с сумрачным, невозмутимым видом.

Оба молчали. Лурса ел неопрятно, тянулся к тарелке, словно овца к траве, шумно чавкал и временами вздыхал то ли от скуки, то ли от усталости.

Покончив с очередным блюдом, он слегка отодвигался от стола, чтобы дать простор объемистому брюшку, и ждал.

Ожидание это было столь заметным, что Николь воспринимала его как сигнал и слегка поворачивала голову к горничной, стоявшей у стены.

Горничная тут же открывала крышку люка и кричала в шахту подъемника:

– Можно подавать!

Там внизу, в глубоком подвале, помещалась мрачная кухня со сводчатым, как в церкви, потолком; и, услышав крик, низенькая, тощая, уродливая женщина, только что пристроившаяся на кончике стола, чтобы поесть, вскакивала, брала с плиты блюдо и ставила его на подъемник.

И, как всегда, не дойдя нескольких метров до места назначения, механизм сдавал, сцепление заедало, и лишь после многочисленных попыток горничной, караулившей наверху, каким-то чудом удавалось выхватить из подъемника давно ожидаемое блюдо.

Каминная труба не тянула. Весь дом был полон вещей, которые вообще не действовали или действовали из рук вон плохо. Это сразу бросалось в глаза. Положив локти на стол, Лурса горестно вздыхал при каждой очередной аварии подъемника; а когда порывом ветра из камина выбросило длинный язык пламени, Николь забарабанила пальцами по краю стола, что служило у нее признаком дурного настроения.

– Ну что же, Анжель?

– Сейчас, мадемуазель.

Николь пила белое вино, которое подавали в графине. Ее отец предпочитал бургундское и неизменно выпивал за обедом целую бутылку.

– Мадемуазель может сразу же после обеда рассчитаться со мной?

Лурса рассеянно прислушивался к разговору. Он почти не знал этой горничной, только отметил про себя, что она значительно выше и плотнее, чем их прежние служанки, к которым он привык больше, чем к этой рослой девице с энергичной физиономией и спокойно-непочтительными повадками.

– Ваша расчетная книжка при вас?

– Я отдала ее Фине.

Финой, то есть Жозефиной, звалась их кухарка, карлица с дергавшимся лицом, отправлявшая наверх блюда из кухни.

– Хорошо.

Лурса не спросил у дочери, почему горничная уходит от них – по доброй воле или ее рассчитали. Каждые две недели у них появлялась новая служанка, и это было ему глубоко безразлично.

Он жевал вареные каштаны и ухитрился осыпать крошками свою домашнюю куртку из черного вельвета. Впрочем, это не имело значения, так как куртка была вся в пятнах. Слышно было, как из крана капает вода, – очевидно, и этот кран тоже нуждался в починке.

После каштанов Лурса подождал еще с минуту, но, поняв, что продолжения не последует, скомкал салфетку и бросил на стол, так как не в его привычках было складывать ее как полагается. Потом он поднялся со стула.

Сегодняшний вечер прошел совсем так, как и все прочие, без малейших отклонений. Отец не глядел на Николь. Только бросил ей уже с порога:

– Спокойной ночи.

К этому часу походка его становилась грузной, не слишком уверенной. В течение дня Лурса успевал выпить две или три бутылки – чаще всего три – все того же бургундского, за которым он сам спускался в погреб, едва пробудившись ото сна, и со всей осторожностью относил вино к себе в комнату.

При желании с улицы можно было бы проследить путь Лурса, так как сквозь узкие щели ставен по мере его продвижения пробивались тонкие лучики света, можно было даже установить, что адвокат добрался до своего кабинета, расположенного в крайней комнате правого крыла особняка.

Дверь кабинета была давным-давно обита клеенкой – еще во времена отца Лурса, тоже адвоката, а может быть, даже во времена деда, бывшего в течение двадцати лет мэром города. Черная клеенка местами разорвалась, как сукно на старом трактирном бильярде.

В камине, там, где полагается быть подставке для дров или решетке для угля, еще в незапамятные времена и по забытым уже сейчас причинам поставили, конечно временно, маленькую чугунную печурку, но она так и прижилась в кабинете со своей коленчатой трубой. Печурка пыхтела, старательно раскалялась докрасна, и время от времени Лурса подходил к ней, как к доброму псу, и, дружески бросая в ее пасть совок углей, присаживался возле нее на корточки, чтобы помешать золу.

Пассажирский поезд на Монлюсон уже прошел. Теперь за городом посвистывал другой, на сей раз, очевидно, товарный состав. На экране для горстки зрителей, жавшихся в углах кинозала, пахнувшего мокрой одеждой, проплывали, подрагивая, кадры какого-то фильма. Префект пригласил своих гостей в курительную комнату и открыл ящик сигар.

Прокурор Рожиссар, воспользовавшись тем, что сегодня партия бриджа не состоялась, решил пораньше лечь спать, а его жена читала рядом в постели.

Лурса высморкался так, как сморкаются только старики да крестьяне: сначала развернул платок во всю ширину, потом произвел носом трубный звук три раза подряд, после паузы еще пять раз и так же аккуратно сложил платок.

Он был один в своем жарко натопленном логове, которое всегда запирали на ключ по склонности натуры. Из-за порочной склонности, уточняла Николь.

Его седые волосы были всклокочены от природы, а он еще усиливал живописный беспорядок, проводя по ним всей пятерней от затылка ко лбу. Бородка была подстрижена клинышком, но не совсем ровно, а седые усы пожелтели от никотина.

Повсюду – на полу, в пепельницах, у печурки, даже на стопках книг – валялись окурки.

Тяжело ступая, Лурса с сигаретой во рту пошел за бутылкой, которая пока что доходила на углу каминной доски до нужной температуры.

По Парижской улице, минуя отдаленные жилые массивы, изредка проезжали автобусы, вокруг фар вскипали капли дождя, непрерывно двигались «дворники», а внутри автобусов мертвенно белели пятна лиц.

Делать Лурса было нечего, он дал потухнуть окурку, потом снова зажег, потом выплюнул его на пол, а рука его тем временем нащупала первую попавшуюся книгу и открыла ее на случайно попавшейся странице.

Так он читал, не особенно усердно, потягивая маленькими глотками вино, мурлыкая себе что-то под нос, сплетая и расплетая ноги. Книг в кабинете было множество, чуть не до самого потолка. И в коридорах тоже, и во всех прочих комнатах были книги, его собственные и те, что достались ему от отца и деда.

Без особой охоты Лурса подходил к полке, стоял перед ней, очевидно забыв, зачем он здесь, и успевал выкурить сигарету, прежде чем выбирал книгу, потом утаскивал ее в свой кабинет совсем как щенок, который старательно прячет сухую корку под соломенную подстилку конуры...

Так длилось двадцать, точнее, восемнадцать лет, и никогда еще никому не удавалось уговорить его пообедать вне дома, ни у Рожиссаров – его родичей, которые устраивали по пятницам обеды, после чего следовал бридж, ни у старшины адвокатского сословия, который был ближайшим другом его покойного отца, ни у его зятя Доссена, у которого собирались политические деятели, ни у префекта, хотя каждый вновь назначенный префект, не зная еще нрава Лурса, поначалу посылал ему приглашение.

Он почесывался, отфыркивался, сморкался. Ему было жарко. На домашнюю куртку с сигареты щедро сыпался тонкий пепел. Он прочел десять страниц какого-то труда по юриспруденции и сразу же открыл на середине чьи-то мемуары семнадцатого века.

Время шло, с каждым часом Лурса все больше тяжелеяло, глаза становились все более водянистыми, а движения торжественно медлительными.

Спальня, которую звали просто «комната», то есть та спальня, где поколение за поколением спали хозяева дома и которую сам Лурса занимал с женой, находилась в противоположном крыле дома на том же этаже. Но он уже давно не пользовался этой спальней. Когда вино кончалось, иной раз к полуночи, а иной раз значительно позже, он покидал кабинет, но, прежде чем уйти, никогда не забывал выключить электричество и приоткрыть окно, чтобы не угореть от печурки.

Затем он перебирался в соседнюю комнату, бывшую секретарскую, где теперь по распоряжению Лурса поставили железную кровать; не закрывая дверей, он раздевался, ложился и курил еще несколько минут в постели и наконец, шумно вздохнув, засыпал.

Сегодня вечером – это была вторая среда месяца, раз в префектуре давали обед для избранных, – Лурса особенно тщательно занялся печуркой, подложил угля и наслаждался более обычного разлившимся по комнате теплом, так как на дворе стояли холода, а в стекла барабанил дождь.

Он слышал стук капель, порой скрипел неплотно прикрытый ставень; внезапно поднялся ветер, шквальными порывами пролетал по улицам. Слышал он также размеренное, как стук метронома, тиканье своих золотых часов, лежавших в кармане жилета.

Он перечел несколько страниц путешествия Тамерлана, от книги шел запах ветхости, а переплет обтрепался. Возможно, он собрался уже идти за новой порцией духовной пищи, как вдруг медленно поднял голову, удивленный, заинтригованный.

Обычно, кроме свистков товарных составов да отдаленного шелеста автомобильных шин, сюда не долетало ни звука, если не считать шагов Жозефины Карлицы, которая всегда ложилась точно в десять часов, но с каким-то маниакальным упорством, прежде чем лечь в постель, раз двадцать обходила во всех направлениях свою каморку, помещавшуюся как раз над кабинетом хозяина.

Но ведь Фина давно легла. Какой-то новый звук, звук непривычный, достиг слуха Лурса, погруженного в сонное оцепенение.

Сначала ему почудилось, будто щелкает кнут, утрами он слышал такое щелканье, когда по их улице проезжал мусорщик на своей повозке.

Но этот звук шел не с улицы. И это было не щелканье кнута. Эхо от этого звука распространилось шире, звучало дольше. Вернее, ему показалось, будто его с размаху ударили в грудь,

и он стал прислушиваться с недовольным, хмурым лицом; в общем, чувство, охватившее его в первую минуту, хоть и не было тревогой, но весьма походило на тревогу.

Но что показалось ему особенно странным, это тишина, наступившая затем. Тишина какой-то противоестественной плотности, в которой как бы дрожали взбаламученные волны.

Поднялся он не сразу. Сначала налил в стакан вина, выпил его залпом, зажал в зубах новую сигарету, встал, недоверчиво оглядываясь, шагнул к двери, но, прежде чем открыть ее, снова прислушался.

В коридоре он повернул выключатель, и три пыльные лампочки вспыхнули под потолком, подчеркнув длину коридора и осветив лишь пустоту и безмолвие.

– Николь! – произнес он вполголоса.

Теперь он уже знал, что слышал выстрел. Он, правда, пытался убедить себя, что, возможно, стреляли на улице, но сам в это не верил.

Он не очень испугался. Шел он медленно, по обыкновению ссутулясь, переваливаясь на ходу, как медведь, за что упрекала Лурса кузина Рожиссар, уверявшая, что он нарочно так ходит, желая поинтересничать. Впрочем, чего только она о нем не говорила!

Он добрался до каменной белой лестницы с металлическими перилами и, перегнувшись, оглядел пустую прихожую.

– Николь!

Хотя позвал он негромко, голос его разнесся эхом по всему дому.

Возможно, он ограничился бы тем, что прошел бы по коридору и снова заперся бы в своем мирном и жарко натопленном кабинете.

Но вдруг ему почудилось, что над его головой раздались поспешные шаги, хотя в этой половине верхнего этажа сейчас никто не жил, а раньше, когда у Лурса были еще дворник, шофер, садовник и горничные, мансарду занимала прислуга.

Спальня Николь помещалась в самом конце левого крыла дома, и отец направился туда по длинному коридору, совсем такому же, как тот, что вел в его кабинет, с той лишь разницей, что здесь из трех лампочек горели всего две. Он остановился перед дверьми спальни, бегло отметив про себя, что в щелку пробился луч света и тут же погас.

– Николь! – снова позвал он.

И постучал в дверь.

– Что случилось? – спросила дочь.

Он готов был поклясться, что голос доносится не из кровати, которая, по его расчетам, находилась много левее, – по крайней мере, так было в тот раз, когда, года два назад, Лурса случайно забрел в спальню дочери.

– Откройте! – сказал он только.

– Сию минуту...

Минута, однако, длилась довольно долго, за дверью кто-то суеился, стараясь не стукнуть и не зашуметь.

В дальнем конце коридора находилась винтовая лестница, которой пользовались все обитатели дома, хотя считалась она лестницей для прислуги.

Лурса все еще ждал, когда внезапно скрипнула ступенька винтовой лестницы. Тут уж сомнений быть не могло. И когда он обернулся со всей отпущенной ему природой ловкостью, ему показалось, нет, не показалось, он отчетливо увидел, как кто-то скользнул по ступенькам, скорее мужчина, чем женщина; он мог бы даже поклясться, что это был молодой человек в бежевом плаще.

Дверь открылась, Николь оглядела отца с обычным своим спокойствием, где не было места ни любопытству, ни любви, с тем спокойствием, которое порождается лишь глубочайшим равнодушием.

– Что вам надо?

Лампа под потолком и ночник горели, кровать была смята, но Лурса решил, что простыни разбросаны с умыслом. Николь была в халатике, но в чулках.

– Вы ничего не слышали? – спросил он, снова бросив взгляд на винтовую лестницу.

Она сочла нужным объяснить ему:

– Я спала.

– В доме кто-то есть.

– Вот как?

Одежда Николь валялась на коврик.

– Мне показалось, что кто-то стрелял...

Лурса направился в дальний конец коридора. Он не испытывал страха. Не волновался. Еще немного, и он, презрительно пожав плечами, возвратился бы к себе в кабинет. Но если действительно стреляли, если он действительно видел молодого человека, промелькнувшего на лестнице, пожалуй, лучше пойти посмотреть.

Самое удивительное было то, что Николь не сразу последовала за отцом. Она замешкалась в спальне, и, когда он, почувствовав за спиной ее присутствие, оглянулся, Николь уже была без чулок.

Ему это было все равно. Николь могла делать все, что ей заблагорассудится. Все эти подробности он отмечал про себя просто так, бессознательно.

– Я уверен, что по лестнице только что спустился какой-то человек. Раз дверь внизу не хлопнула, значит он укрылся где-нибудь в темноте.

– Интересно, чем здесь может поживиться вор. Разве что старыми книгами...

Николь была выше отца, такая же ширококостная, даже, пожалуй, полная, ее густые белокурые волосы отдавали рыжиной, а желтые, как часто бывает у рыжих, глаза казались особенно светлыми.

Она шла за отцом без всякой охоты, но и без страха, такая же хмурая, как и ее родитель.

– Я ничего больше не слышу, – сказал Лурса.

Взглянув на Николь, он подумал, что, может быть, молодой человек как раз приходил к дочери, и снова чуть было не повернул к себе в кабинет.

Но, случайно подняв голову к лестничной клетке, он заметил наверху расплывчатое пятно света.

– На третьем этаже горит лампочка.

– А может быть, это Фина?

Он бросил на дочь тяжелый презрительный взгляд. Что делать Фине в полночь в этой части дома, куда складывали всякую рухлядь? К тому же Фина отчаянная трусиха; когда Лурса уезжал из дому, она заявляла, что будет ночевать в комнате Николь, и действительно перетаскивала туда свою раскладушку.

Он неторопливо поднимался со ступеньки на ступеньку, догадываясь, что это их ночное путешествие неприятно дочери. Впервые за долгие годы он отступил от своего обычного, жестко ограниченного маршрута.

Сейчас он словно проникал в неведомый ему мир и усиленно принюхивался, потому что чем выше он поднимался, тем явственнее становился запах пороха.

Коридор на третьем этаже был совсем узкий. В незапамятные времена, лет тридцать тому назад, в коридоре второго этажа сменили ковры и старый ковер расстелили здесь. Вдоль стен шли полки, плотно забитые книгами без переплетов, журналами, сборниками, разрозненными комплектами газет.

Николь все так же невозмутимо шла за отцом.

– Вы же видите, здесь никого нет!

Она не прибавила: «Вы выпили лишнего». Но невысказанный упрек явно читался в ее глазах.

– Кто-то ведь зажег здесь свет! – возразил он, указывая на горящую электрическую лампочку.

И, нагнувшись, добавил:

– И бросил незатушенную сигарету!

Сигарета, которую он подобрал с пола, уже прожгла красноватый ковер, и в дырку виднелись нитки основы.

Он шумно вздохнул, потому что подъем дался ему нелегко, нерешительно шагнул вперед, все еще прикидывая в уме, не разумнее ли вернуться к себе в кабинет.

С третьим этажом у него были связаны воспоминания детства – тогда все три комнаты, расположенные по левой стороне коридора, занимала прислуга. В первой с края жила Ева, горничная, предмет его тайных вздыханий, которую он как-то вечером застал с шофером в весьма недвусмысленной и надолго запомнившейся ему позе.

Заднюю комнату занимал Эзеб, садовник, и к нему Лурса мальчишкой ходил мастерить силки для воробьев.

Ему показалось, что дверь в эту комнату неплотно прикрыта. Он прошел вперед, дочь на этот раз осталась стоять на месте, и толкнул дверь без особого любопытства, просто чтобы посмотреть, что случилось с жильем Эзеба.

Стоявший здесь запах не оставлял никаких сомнений, к тому же ему почудилось в глубине комнаты какое-то легкое движение, вернее, какой-то трепет жизни.

Лурса поискал выключатель, так как уже забыл, с какой стороны он расположен. При свете лампочки он увидел пару устремленных на него глаз.

Он не шелохнулся. Просто не мог. Было что-то необычное во всем этом происшествии, в этих глазах.

Этими глазами смотрел на него человек, лежавший на постели. Плед прикрывал его лишь до пояса. Одна нога в пухлой повязке, возможно даже с шиной – такие шины накладывают при переломах, – свисала с кровати.

Впрочем, всего этого Лурса почти не заметил. Единственное, что имело значение, – это глаза незнакомца, смотревшего на Лурса в его собственном доме, под его кровом, с невысказанным мучительным вопросом.

На постели лежал мужчина; лицо, коротко подстриженные бобриком густые волосы – все было явно мужским, а вот глаза, глаза были совсем детские, огромные, испуганные, и Лурса показалось даже, что в них застыли слезы.

Ноздри вздрогнули, губы шевельнулись. Лицо исказила еле заметная гримаса вроде той, что предшествует крику или плачу.

Звук... Человеческий звук... Не то бульканье, не то первый хриплый зов новорожденного...

И сразу же тело опало, застыло в неподвижности, и произошло это так внезапно, что Лурса на мгновение затаил дыхание.

Когда наконец он пришел в себя, ему хватило сил лишь провести ладонью по волосам и сказать, причем он слышал свой голос будто со стороны:

– Да он, очевидно, умер...

Лурса повернулся к Николь, которая стояла чуть поодаль, в коридоре, в лазоревых домашних туфлях на босу ногу. Он повторил:

– Умер.

И тут же озадаченно спросил:

– А кто он?

Нет, Лурса не был пьян. Да он никогда и не бывал пьян. По мере того как день близился к вечеру, поступь его становилась вся тяжелее, голова, особенно голова, тоже тяжелела, мысли лениво цеплялись одна за другую, и случалось, он произносил вполголоса какие-то слова –

слова, которых не мог понять никто из посторонних и которые были единственными внешними проявлениями его внутренней жизни.

Николь смотрела на отца с ошеломленным видом, будто самым необычным за сегодняшний вечер был не выстрел, не зажженная лампочка, не человек, умерший в этой комнате, а сам Лурса, как всегда, невозмутимо спокойный и грузный.

Кассирша в кинотеатре наконец закрыла свою стеклянную кассу, где сидеть зимой было подлинной мукой, хотя она приносила с собой из дома грелки. Парочки на минуту появлялись в полосе света и сразу исчезали в сыром мраке. Скоро во всех кварталах откроются и тут же захлопнутся двери, в уличной тишине гулко разнесется:

– До завтра...

– Покойной ночи...

В префектуре уже разносят оранжад – первый сигнал гостям, что пора расходиться.

– Алло! Рожиссар?

Прокурор, стоя в ночной рубашке – он так и не мог привыкнуть спать в пижаме, – нахмурился и покосился на жену, поднявшую от книги глаза.

– Что вы говорите?.. Как, как?

Лурса вернулся к себе в кабинет. Николь, все еще в халате, стояла у порога. Фина – она же Карла – не подавала признаков жизни; если даже она проснулась, то, наверное, забилась от страха под одеяло и жадно ловит все шумы в доме.

Лурса повесил телефонную трубку, ему захотелось выпить, но бутылка оказалась пустой. Дневной запас уже иссяк. Придется спускаться в погреб, где до сих пор так и не собрались провести электричество.

– Думаю, что вас будут допрашивать, – обратился он к дочери. – Поэтому советую хорошенько собраться с мыслями. Может быть, вы все-таки оденетесь?

Николь жестко взглянула на отца. Впрочем, это не имело никакого значения, раз они все равно не любили друг друга и с молчаливого согласия уже давно ограничили свои отношения только встречами в столовой. Да и то скорее по привычке, потому что даже за едой они по большей части молчали.

– Если вы знаете этого человека, по-моему, разумнее сразу в этом признаться. А что касается того, который прошел...

Николь повторила:

– Я ничего не знаю.

– Как вам угодно. Будут допрашивать также Фину и, безусловно, горничную, которую вы рассчитали...

Он не глядел на дочь, но ему почудилось, будто эти слова произвели на нее впечатление.

– Они скоро придут, – заключил он, вставая и направляясь к двери.

Впрочем, не так-то уж скоро! Конечно, Рожиссар явится не один, он непременно вызовет секретаря суда, комиссара полиции или жандармов. В курительной комнате в стенном шкафу стояли ликеры и винный спирт, но Лурса к ним никогда не притрагивался, он направился в погреб; свечу он с трудом отыскал в кухне, потому что, за исключением облюбованного им уголка, был словно чужой в собственном доме.

Раньше в этой кухне, еще во времена Евы...

Он взял бутылку там, где и обычно, – на полках, тяжело отдуваясь, поднялся из погреба, сделал передышку на первом этаже и из любопытства решил проверить дверь черного хода, выходящую в тупик Таннер.

Дверь не была заперта на ключ. Он открыл ее – с улицы на него неприятно пахло холодом и вонью помоек, – снова закрыл дверь и побрел в свой кабинет.

Николь здесь уже не было. Должно быть, пошла одеваться. С улицы донесся шум; приоткрыв ставни, Лурса заметил полицейского на мотоцикле, которого, очевидно, прислал Рожиссар и который теперь ждал прокурора на обочине тротуара возле дома.

Лурса аккуратно содрал воск с пробки, откупорил бутылку, думая о том мертвце, о том человеке наверху, которому выстрелили прямо в грудь, почти в упор, думал он также о стрелявшем: по-видимому, тот не отличался особенным хладнокровием, ибо пуля не пробила сердца, а попала много выше, почти в шею. Очевидно, поэтому раненый и не крикнул, а издал какое-то урчание. Он умер от потери крови там, наверху, и одна нога у него свисала с постели.

Был он высокого роста, почти гигант, и оттого, что он лежал неподвижно, вытянувшись, он казался особенно огромным. Стоя, он был, должно быть, на голову выше Лурса, и черты лица у него были грубые, в них проглядывало что-то бессознательно зверское, как это бывает порой у крестьян могучего телосложения.

Как удивился бы Лурса, если бы заметил, что, выпив полстакана бургундского, произнес вслух:

– Странно все-таки!

Сверху донесся какой-то шорох. Карла ворочалась на своей постели, но поднять ее удастся только силой.

В «Отель де Пари» трое коммивояжеров сели играть в белот с хозяином, время от времени поглядывавшим на часы. Пивные уже закрывались. В префектуре привратник собственноручно запер тяжелые двери, и последняя машина отъехала от подъезда.

Дождь лил все так же упорно, только падал он теперь косыми струями, потому что поднялся северо-восточный ветер и там, далеко в море, должно быть, разыгрался шторм.

Поставив локти на письменный стол, Лурса скреб пальцами голову, осыпал пеплом отвороты куртки, потом обвел комнату взглядом своих водянистых глаз, тяжело с присвистом вздохнул и пробормотал:

– Они от этого прямо с ума сойдут.

«Они» – это в первую очередь, конечно, Рожиссар или, скорее, Лоранс, его супруга, которую страстно интересуют проблемы добра и зла, все, что делается, и все, что, по ее мнению, следовало бы делать; а затем уже прочие, например судейские в полном составе, которые обычно не знали, как себя вести, когда Лурса случалось выступать защитником; в общем, все они – судьи, его коллеги адвокаты и еще такие типы, как Доссен, его зять Доссен – владелец завода сельскохозяйственных машин, который трется среди политических деятелей и метит на должность генерального советника; как его жена Марта, вечно больная, вечно скорбящая, вечно одетая в какие-то разлетающиеся хламиды, – и хотя доводится она родной сестрой Лурса, они не видятся годами; вся улица, все солидные люди, по-настоящему состоятельные или прикидывающиеся таковыми, коммерсанты и рестораторы, члены различных комитетов, равно как и члены фешенебельного клуба, все сливки общества и все его подонки.

Хочешь не хочешь – придется начать расследование!

Потому что незнакомца убили на постели в его доме...

А он, Лурса, в сущности их родич, родич тех, с которыми считаются, которые достигли известного положения, родич по узам крови или по узам брака, внук бывшего мэра, чьим именем названа одна из улиц города и чей бюст водружен в одном из городских скверов!

Он осушил стакан и сразу налил еще вина, но выпить не успел, так как к дому шумно подкатили машины, две или даже больше; Фина по-прежнему не желает вылезать из постели, Николь ни за что не спустится, и придется самому идти вниз, возиться с непривычными засовами, пока там, на улице, хлопают дверцы автомобилей.

II

Когда Лурса открыл глаза, было уже одиннадцать, но он еще не знал этого, так как ему лень было протянуть руку и вынуть из жилетного кармана часы. В комнате из-за закрытых ставен стоял полумрак, как в подвале, и только в ставнях ярко светились две маленькие круглые дырочки.

На эти два блестящих глазка Лурса обычно глядел с сосредоточенным вниманием, как, пожалуй, ни на что больше во всем свете, – с таким сосредоточенным вниманием часами могут рассматривать какой-нибудь пустяк дети – ведь по этим глазкам он должен был угадать, какая сегодня погода. Отнюдь не будучи суеверным, Лурса создал свою собственную систему примет: так, в те дни, когда он правильно угадывал, какая на дворе погода, все шло благополучно.

Солнце! – решил он. Потом грузно повернулся на бок и нажал кнопку звонка, который заверещал под сводами похожей на склеп кухни, где царил их Фина. Как раз сейчас она налила стакан вина полицейскому, без церемоний усевшемуся за стол.

– Что это? – осведомился полицейский.

И Фина равнодушно ответила:

– Да так, ничего.

Лежа с открытыми глазами, Лурса ждал, прислушиваясь к тому, что творится в доме, но звуки доходили сюда расплывчатые, приглушенные расстоянием и поэтому непонятные. Он позвонил еще раз. Полицейский взглянул на Фину, а та в ответ пожала плечами:

– Чтоб он сдох!

Она сняла кофеварку, стоявшую на краю плиты, сердито трянула ее, наполнила кофейник, схватила со стола засиженную мухами сахарницу. Поднявшись наверх, она не дала себе труда ни постучать в дверь кабинета, ни пожелать хозяину доброго утра. Просто грохнула поднос на стул, служивший ночным столиком, затем подошла к окну и открыла ставни.

Лурса понял, что проиграл. Небо было серо-зеленое, цвета ртути. Правда, через мгновение оно вроде просветлело, но тут же снова нахмурилось, его заволокли дождевые тучи, дышавшие холодом.

– Кто там внизу?

Каждое утро, просыпаясь, Лурса переживал малоприятный час, но он уже свыкся и работал целую серию приемов, чтобы хоть отчасти смягчить утренние муки. Главное – не торопиться вставать и двигаться, потому что голова после сна какая-то пустая и в желудке начинаются спазмы. Надо подождать, пока Карла разожжет огонь, что она и проделывала, грубо хватая уголь и спички, словно срывала на них злость.

– Людей полно и внизу, и наверху! – ответила она, бросая на кровать хозяйскую рубашку.

– А где мадемуазель?

– Заперлась с одним из этих господ и сидит целый час в большой гостиной.

Злобный нрав Карлы уже не казался ему таким забавным, как в былые времена, он уже успел к нему привыкнуть. Николь было всего два года, когда Фину взяли в дом смотреть за девочкой, и внезапно в один прекрасный день она возненавидела всех на свете, а в особенности самого Лурса.

Впрочем, адвоката это мало заботило. Он вообще не замечал, что делается в доме, и все же ему случалось, открыв по ошибке дверь, застать их Карлу, которая, стоя на коленях, старалась согреть в руках или у тощей своей груди босые ноги Николь, что не мешало ей злиться на свою молодую хозяйку иногда по несколько недель кряду по каким-то своим таинственным причинам!

После чашки кофе наступила очередь минеральной воды, он прополаскивал ею горло, потом выпивал целую бутылку. Только после всех этих процедур можно было вставать. Но

окончательно он начинал чувствовать себя человеком часом позднее, выпив два-три стакана вина.

– Прокурор тоже приехал?

– Я его не знаю!

Лурса редко пользовался ванной комнатой, находившейся в противоположном конце дома, напротив его бывшей спальни. Ему вполне хватало тазика в стенном шкафу, стакана с зубной щеткой и гребенки. Он одевался в присутствии Фины, присевшей на корточки возле печурки, печурка у нее капризничала и никогда не загоралась сразу.

– А как себя чувствует мадемуазель?

И Фина, скорчившись у печурки, ответила ему, словно укусила своими острыми, как у грызуна, зубами:

– А как она, по-вашему, должна себя чувствовать?

Вчера все получилось довольно забавно. Рожиссар, очень высокий и очень тощий субъект, так же как и его жена, – недаром в городе их прозвали Жердями! – с озабоченным видом пожал кузену руку и, недовольно нахмурившись, спросил:

– Что это вы такое нарасказали по телефону?

Чувствовалось, что он ничуть не удивится, если адвокат фыркнет ему в лицо и крикнет:

– А вы и поверили?

Но не тут-то было! На кровати действительно лежал труп, и прокурор готов был поклясться, что Лурса демонстрирует его с гордостью, чуть ли не с радостной улыбкой на лице.

– Вот! – заявил он. – Не знаю ни кто он, ни как он сюда попал, ни что с ним случилось. Думаю, это уж по вашей части, не так ли?

Секретарь то и дело кашлял, и Лурса, не удержавшись, взглянул на него сначала нетерпеливо, а потом с нескрываемой злобой, до того его раздражало это назойливое покашливание. Приехал также комиссар – не то Бине, не то Визе, коротышка с выпученными рыбьими глазами, с поредевшей шевелюрой; этот с каким-то маниакальным упорством вставлял кстати и некстати «извините». Без всякого злого умысла он все время попадался вам под ноги, и скоро Лурса не мог без отвращения видеть ни самого Бине, ни его ратиновое пальто шоколадного цвета.

– Николь дома? – осведомился Рожиссар, который, пожалуй, впервые в жизни испытывал столь неприятное ощущение.

– Одевается. Сейчас придет.

– Она знает?

– Она была со мной, когда я открыл дверь.

Очевидно, Лурса выпил много, даже чуть больше, чем обычно, и язык у него слегка заплетался. Это было неприятно, особенно перед секретарем, перед комиссаром, перед товарищем прокурора, который только что прибыл вместе с начальником полиции.

– Никто в доме этого человека не знает?

Все-таки Николь молодец. Уже вышла к посетителям, да еще как вышла! Лурса удивился – настоящая светская дама. Казалось, она просто появилась в салоне, где ее ждут гости, и протянула прокурору руку.

– Здравствуйте, кузен...

И, повернувшись к остальным, проговорила, ожидая, когда их ей представят:

– Господа...

Это было подлинное откровение, отец впервые видел дочь такой.

– А что, если мы отсюда уйдем? – предложил Рожиссар Жердь. На его нервы начинал действовать этот труп с открытыми глазами. – Может быть, комиссар, вы воспользуетесь случаем и осмотрите комнату?

Перешли в столовую, так как уже много лет хозяева не пользовались гостиной нижнего этажа.

– Разрешите, Лурса, побеседовать с Николь?

– Пожалуйста. Если я вам понадобится, я буду у себя в кабинете.

Через полчаса к нему в кабинет пришел Рожиссар, на сей раз один.

– Николь твердит, что ничего не знает. Вообще малоприятная история, Лурса. Я велел отвезти тело в морг. Не стоит начинать расследование ночью. Придется оставить здесь в доме человека...

Пусть оставляет, если хочет! Взгляд адвоката был еще более мутным, чем обычно, а на письменном столе стояла пустая бутылка.

– Вы действительно не имеете ни малейшего представления о том, что произошло?

– Ни малейшего!

Произнес он эти слова таким тоном, который при желании можно было счесть за угрозу. А может, он просто насмеялся над своим кузенком.

Положение было особенно щекотливым потому, что Гектор Лурса, даже пьяница и нелюдь, каким он стал с годами, все еще принадлежал к хорошему обществу Мулэна.

Конечно, он не посещал салонов, но ни с кем не был в ссоре, и при случайных встречах на улице или в суде ему пожимали руку.

А если он пил, то пил в одиночестве, в своей норе, и правил приличия не нарушал.

В чем же можно было его упрекнуть? Напротив, еще приходилось его жалеть, сокрушенно вздыхать: «Какая досада! Безусловно, самый одаренный человек в городе!»

Это было истинной правдой, хотя вспоминали об этом лишь в тех редких случаях, когда Лурса соглашался выступить защитником в суде.

Прежде за ним ничего такого не замечали до тех самых пор, когда восемнадцать лет назад перед Рождеством его жена вдруг навсегда покинула дом, оставив на руках мужа двухлетнюю крошку Николь. Передавая друг другу эту историю, люди невольно улыбались. В течение долгих недель дверь его дома была на запоре. Более или менее близкие родичи Лурса, такие как Рожиссар, выговаривали ему:

– Нельзя так раскисать, дорогой мой. Нельзя же в самом деле жить вне общества, как больное животное!

Но оказалось – можно, раз он прожил так целых восемнадцать лет! Целых восемнадцать лет, в течение которых он не испытывал нужды в человеческом обществе; ему не требовались ни друзья, ни любовницы, ни даже слуги, так как Фина, которую он нанял, не занималась ничем, кроме Николь.

А он ею не занимался. Он просто не замечал дочь, и не замечал с умыслом. Не то чтобы он ее ненавидел, ведь не может в самом деле девочка отвечать за чужие грехи, но, сопоставив кое-какие факты, Лурса даже стал подозревать, что Николь не его дочь, а дочь помощника тогдашнего префекта.

Эта драма без драмы взбудоражила все умы. Главным образом потому, что произошло все это совершенно неожиданно, потому, что бегству жены Лурса не предшествовали сплетни, потому, что никто так и не узнал, что было потом.

Звали ее Женевьева. И она принадлежала к одному из десяти лучших семейств города. Была она хорошенькая, хрупкая. Когда она вышла за Лурса, все считали, что это брак по любви.

Ни сплетен в течение трех лет после свадьбы, ни компрометирующих слухов. И вот в один прекрасный день стало известно, что Женевьева укатила, не сказав никому ни слова, с Бернармом, что она уже давно, чуть ли не с первых дней замужества, была его любовницей, иные уверяли даже, что и до замужества тоже.

И с тех пор о беглецах не было ни слуху ни духу. Ничего, совсем ничего! Лишь единственный раз родители Женеьевы получили открытку из Египта, а на открытке стояла только ее подпись.

Чувствуя во рту вязкую горечь, он прошел по коридору, добрался до лестницы и увидел с площадки, что на нижней ступеньке сидят какие-то два человека в шляпах. С минуту он глядел на них тяжелым и рассеянным взглядом, который с трудом можно было вынести, взгляд этот появился в последние годы, и в нем ничего нельзя было прочесть, – потом поднялся на третий этаж, откуда доносился шум голосов и шаги.

Комиссар Бине, пятившийся задом, натолкнулся на Лурса, перепугался и завел свои бесконечные «извините». Тут было еще три человека, один из них фотограф с чудовищно огромным аппаратом, и все работали так, как привыкли работать: кто с трубкой, кто с сигаретой в зубах, что-то вымеряли, что-то искали, передвигали мебель в комнате, где был обнаружен труп.

– Прокурор не приехал? – спросил Лурса, поглядев с минуту на эту возню.

– Не думаю, что он вообще приедет: здесь следователь.

– А кто именно?

– Дюкуп. По-моему, он внизу ведет допрос. Извините, пожалуйста...

– За что извинить? – довольно миролюбиво осведомился Лурса.

– За... за весь этот беспорядок...

Пожав плечами, Лурса уже вышел прочь. Пора было спуститься в погреб за дневной порцией вина.

Нынче утром дом был холодный, шумный, по нему гуляли непривычные сквозняки, раздавались странные для уха звуки. На каждом шагу он наталкивался на незнакомых людей, спускавшихся или поднимающихся по лестнице. Иногда звонили у входной двери, и кто-нибудь из полицейских шел открывать.

Должно быть, прислуга соседей, вместо того чтобы заниматься своим делом, торчит на пороге или выглядывает в окна. А Лурса тем временем сходил в погреб и, отдуваясь, поднялся наверх с тремя бутылками, равнодушно обходя полицейских.

В ту минуту, когда он проходил мимо большой гостиной, открылась дверь. Оттуда вышла Николь, очень высокая, очень прямая, с наигранно невозмутимым выражением лица, и инстинктивно остановилась, заметив отца. Позади вырисовывался силуэт Дюкупа в новенькой паре, с подвитыми волосами, с крысиной болезненной мордочкой и с иронической улыбкой на губах, которую он усвоил на все случаи жизни, главным образом потому, что считал ее неотразимой.

Одну бутылку Лурса держал в левой руке, две другие – в правой, и, хотя Дюкуп уставился на него, он не испытал ни малейшего смущения. Николь тоже посмотрела на эти злосчастные бутылки. Ей, очевидно, хотелось что-то сказать, но она подавила это желание и, тяжело вздохнув, прошла мимо.

– Дорогой мэтр... – начал Дюкуп.

Ему было лет тридцать. Его выдвигали. И всегда будут выдвигать, ибо он делал все для этого необходимое. И женился он на косоглазой, зато вошел через нее в местное высшее общество.

– Поскольку мне сказали, что вы еще спите, я счел своим долгом вас не беспокоить...

Лурса вошел в гостиную и поставил бутылки на стол; стол этот, очевидно, принесли из другой комнаты, потому что раньше его здесь не было. Гостиная была пустая, огромная. Натертый паркет покрывала густая пыль, позолоченные стулья – единственная здесь мебель – стояли вдоль стен, словно сейчас должен начаться бал. Ставни открыли только на одном окне, а на трех других они были заперты, и, так как гостиную давно не топили, Дюкуп не решился снять пальто с хлястиком. Секретарь, сидевший над бумагами, поднялся при виде Лурса. И

при каждом шаге, даже при слабом дуновении ветерка, позвякивала люстра, огромная люстра с хрустальными подвесками, издававшими мелодическое треньканье.

– По совету господина прокурора первой мы допросили вашу дочь.

Нет, Лурса решительно не улыбалось сидеть здесь, в этой гостиной, чересчур большой, чересчур холодной и чересчур пустой. Он оглядел комнату; казалось, он ищет укромный уголок, куда можно забиться, а возможно, просто стакан, чтобы выпить вина.

– Пойдемте в мой кабинет! – буркнул он, собрав свои бутылки.

Секретарь не знал, идти ли ему за ними. Дюкуп тоже не мог решить этого вопроса. Поэтому Лурса сам сказал секретарю:

– Когда вы понадобится, вас позовут.

Он все еще не зажег сигарету, хотя уже давно держал ее в зубах, и теперь кончик ее совсем размок. Он поднялся по лестнице. Дюкуп шел за ним следом. Лягнув дверь ногой, Лурса захлопнул ее, и тут, в своей норе, снова стал наконец самим собой, снова начал фыркать, сморкаться, взял из стенного шкафчика стакан, налил себе вина и, поглядев на следователя, спросил, держа бутылку в руке:

– Угодно?

– Так рано не пью... Спасибо... У меня с вашей дочерью была длинная беседа, мы говорили почти два часа. Мне удалось ее убедить, что молчание пойдет ей же во вред.

Лурса, покружив по комнате, как кабан в логове, нашел наконец удобную позицию – сел в потертое кожаное кресло так, чтобы можно было, не сходя с места, помешать кочергой в печурке или налить себе стакан вина.

– Вряд ли стоит вам говорить, дорогой мэтр, что, когда сегодня утром прокурор возложил на меня эту тяжелую миссию...

Трудно же приходилось ему с Лурса; во-первых, Лурса не слушал, а во-вторых, в глазах его ясно читалось: «Болван!»

– Только уступая его настойчивым просьбам, я согласился...

– Сигарету?

– Благодарю вас! Согласитесь сами, должен же был кто-то в доме знать, откуда взялся этот человек. Исходя из этих соображений, мне оставалось одно – выбрать между...

– Послушайте-ка, Дюкуп, расскажите мне сразу, что говорила вам моя дочь.

– К этому я и веду! Признаюсь, мне стоило немалого труда ее убедить; но пусть даже она повиновалась самым благородным чувствам, в данном случае в ней говорило желание выгородить своих друзей...

– Вы мне надоели, Дюкуп!

Лурса сказал не «надоели», а прибег к гораздо более грубому выражению и еще глубже ушел в кресло, чувствуя, как тепло алкоголя и печурки приятно расходится по всем жилкам его тела.

– Сейчас вам станут понятны мои затруднения... Все мы, так уж устроен человек, охотно принимаем на веру видимость, все то чисто внешнее, что нас окружает, и нам трудно вообразить себе, что под этой вполне мирной оболочкой существует своя, так сказать, подспудная жизнь, и она-то...

Лурса высморкался, цинично издав носом трубный звук, показывая этим, что хватит с него рассуждений, и Дюкуп застыл в позе оскорбленного достоинства.

– Как вам угодно! Но только да будет вам известно, мадемуазель Николь иной раз вечерами уходила со своими друзьями. Или принимала их у себя, здесь...

Он ждал, как отнесется отец к этому разоблачению, но Лурса даже бровью не повел, казалось, он в восторге от этой вести.

– У себя в спальне? – спросил он.

– На третьем этаже. Там есть комната, скорее кладовка, так вот они окрестили ее «Хламбаром», если не ошибаюсь...

Зазвонил телефон. Лурса поступил точно так же, как их Карла нынче утром: он просто не взял трубку и решил снять ее, лишь когда от звона заломило в ушах.

– Кто говорит? А, это вы, Рожиссар? Да! Он у меня в кабинете. Нет! Ничего еще не знаю. Он только что начал... Хорошо! Передаю ему трубку.

И Дюкуп с вежливым трепетом взял трубку:

– Да, господин прокурор... Да, да, господин прокурор. Значит, вы хотите... Хорошо, господин прокурор.

Косой взгляд в сторону Лурса.

– Да, он здесь... Простите? Будет исполнено, господин прокурор... Я сообщил ему, что компания молодых людей имела обыкновение собираться или в городе, в баре, что у рынка, или здесь... Да, да, на третьем этаже... Нет! Не в той комнате, а в соседней. Две недели назад в их компанию попал новичок... Шутки ради они его напоили... А потом, так сказать, в качестве испытания поручили ему угнать машину и отвезти всю компанию в кабачок, расположенный в двенадцати километрах от Мулэна... Да, разумеется, я записал имена... Да, да! Я об этом сразу подумал... Машина принадлежит помощнику мэра, и в то утро ее нашли с помятым крылом, а пятна крови были на... Хорошо! Как, как?.. Простите, господин прокурор. Сейчас возьму бумажку, где записаны имена...

Какое иное чувство, кроме желания взбесить следователя, могло заставить Лурса подняться с кресла и начать кружить по кабинету? И хотя Дюкуп бросал на него нетерпеливые, чуть ли не умоляющие взгляды, Лурса топтался вокруг него и громко сопел.

– Сейчас, господин прокурор... Первый – Эдмон Доссен... Да, сын Шарля Доссена... Пока точно не знаю. Пока еще трудно установить роль каждого участника... Затем Жюль Дайа, сын колбасника с улицы Алье... Правильно! Я собираюсь туда зайти... Просто записал имена, среди прочих есть также один банковский служащий... Его отец – кассир в Кредитном банке, где работает также и сын, фамилия – Детриво... Алло, алло! Да, господин прокурор... Потом некий Люска... И наконец, новичок Эмиль Маню, его мать вдова и дает уроки музыки... На обратном пути Маню был в высшей степени возбужден... Они заметили на дороге силуэт высокого человека с поднятой рукой... Резкий толчок. Тогда молодые люди остановили машину и увидели раненого человека... Да, господин прокурор, мадемуазель Николь была с ними... Должно быть, они совсем растерялись, что и понятно! Кажется, тот тип им грозил, и мадемуазель Николь предложила отвезти раненого к ней... Ну да, господин Лурса ничего не знал. Нет, кухарка узнала об этом на следующий день. Безусловно!.. Сейчас ее допрошу... За доктором Матре ходил Эдмон Доссен... У раненого оказался перелом ноги, сантиметров на десять сорвало с костей мясо... Да, он по-прежнему здесь.

«Он» тем временем спокойно наливал себе вино. Ибо, совершенно очевидно, речь шла о Лурса!

– Алло... Что, что? Простите, рядом шумят... Я ее спрашивал... После того они собирались несколько раз, да, да... Она уверяет, что у раненого оказался несносный характер, он их совсем замучил своими требованиями...

Лурса улыбнулся с таким видом, будто его до крайности позабавило известие, что в течение двух недель под его кровом, без его ведома, находился какой-то раненый, да к тому же еще больного посещал доктор Матре (его соученик по лицу), и что здесь происходили сборища молодых людей, из коих он знал только одного Доссена, сына своей родной сестры, этой Зануды, как он величал ее про себя.

– Совершенно очевидно!.. Хорошо... Да, я понял!.. Именно на этом пункте я особенно и настаивал... По-моему, она говорила вполне откровенно... Добавила, что вчера вечером у нее был Эмиль Маню... Да-да, сын той самой вдовы, которая дает уроки музыки... Она и ей

тоже дает уроки музыки... Алло, алло! Не слышу... Они вместе ходили проведать раненого... После чего мадемуазель Николь отвела гостя к себе в спальню...

Досадливый взгляд в сторону Лурса, на лице которого нельзя было прочесть ни досады, ни гнева. Напротив! Дюкуп готов был поклясться, что адвокат внутренне ликует!

– Конечно... Я тоже удивился... Это возможно... Я так и подумал... Да, я читал этот труд... Я знаю случаи, когда девушки возводят на себя клевету... Но, как вам известно, она особа скорее положительная... Ее приятель ушел от нее без двадцати двенадцать... Она его не провожала...

Какие замечания сделал прокурор на том конце провода? Следователь не мог сдержать улыбки.

– Верно! Сюда входят и выходят, как в гостиницу... По-моему, дверь, выходящая в тупик, не запирается... Она услышала выстрел через несколько секунд после ухода Эмиля Маню... И не сразу решилась выйти из спальни... А когда собралась с духом, в коридоре появился отец... Да, придется поговорить с этим делом. Хорошо! Я ему скажу... До скорого свидания, господин прокурор...

Дюкуп повесил трубку и, чувствуя себя отчасти отмытым, повернулся к адвокату:

– Прокурор просил меня сказать вам, что он очень огорчен, что сделает все от него зависящее, дабы имя мадемуазель Николь не попало в газеты в связи с этой историей. Вы слышали, что я ему говорил... Добавить мне, пожалуй, нечего... Я придерживаюсь того же мнения, что и прокурор: дело это исключительно щекотливое и исключительно неприятное для всех.

– Будьте добры, назовите мне их имена и дайте адреса.

– У меня они еще не все... Ваша дочь сама точно не знает все адреса, в частности, например, адреса Маню... А теперь от имени прокурора я должен с вашего согласия подвергнуть вас официальному допросу... Ведь в вашем доме...

Лурса уже открыл дверь и крикнул в коридор:

– Пошлите сюда секретаря... Эй, вы, там, внизу, слышите... Пошлите к следователю секретаря...

Очевидно, сейчас Рожиссар звонит госпоже Доссен, а она, скорбная, в блеклом одеянии, скорее всего в лиловатом, со своими изысканными манерами, еле переползает с одного дивана на другой, и единственное усилие, которое она может себе позволить, – это поправить тонкими пальцами цветы в вазе.

Трудно было представить себе человека меньше похожего на Лурса. В их семействе она была олицетворением изысканности. И вышла замуж за Доссена, который тоже был подчеркнута элегантен; супруги построили за Майлем самую шикарную в Мулэне виллу, где гостей обслуживал дворецкий в белых перчатках, что в городе было большой редкостью.

«Алло! Это вы, дорогая? Ну как вы себя чувствуете? Я просто в отчаянии. Однако я должен предупредить вас, что ваш сын... Конечно, конечно! Мы сделаем все, что в наших силах...» Лурса чудилось, будто он слышит телефонный звонок, видит, как его обезумевшая от горя сестра среди диванных подушек и букетов звонит горничной и только тогда позволяет себе роскошь упасть в обморок.

– Вы меня звали, господин следователь?

– Соблаговолите записать предварительные данные о господине Лурса...

– Гектор-Доминик-Франсуа Лурса де Сен-Мар, – отчеканил Лурса с жесткой иронией. – Коллегия адвокатов города Мулэна. Сорок восемь лет, женат на Женевиэве Лурса, урожденной Грозильер, отбывшей в неизвестном направлении...

Секретарь поднял голову, посмотрел на своего начальника, как бы спрашивая у него совета, заносить ли в протокол эти последние слова.

– Пишите: «Мне неизвестно, что делала или что могла делать вышеупомянутая Николь Лурса; мне неизвестно, что происходило в тех комнатах моего дома, где я не бываю, и это меня

ничуть не интересует. Услышав, как мне показалось, выстрел в ночь со среды на четверг, я, к сожалению, проявил излишнюю нервозность и обнаружил в кровати на третьем этаже убитого пульей неизвестного мне человека. Больше добавить ничего не имею».

Лурса повернулся к Дюкупу, который то сплетал, то расплетал ноги:

– Сигарету?

– Спасибо.

– Бургундского?

– Я уже вам сказал...

– Что никогда не пьете по утрам! Тем хуже для вас! А теперь...

Он замолчал, всем своим видом показывая, что хочет побыть в одиночестве.

– Я должен еще попросить вашего разрешения на допрос прислуги... Что касается горничной, которую вчера вечером рассчитали, то ее уже разыскивают... Вам должно быть яснее, чем любому...

– Именно чем любому!

– Фотография убитого и отпечатки его пальцев посланы в Париж, об этом позаботился комиссар Бине...

И Лурса вдруг пророкотал совершенно не к месту, так, словно пропел всем известный припев:

– Бедняжка Бине!

– Бине весьма ценный служащий...

– Ну конечно! Еще бы не ценный!

Лурса не расправился еще с первой бутылкой из своей дневной порции. Но уже прошла обычная по утрам хмурость, скверный вкус во рту и противное чувство пустоты в голове.

– Весьма возможно, я буду вынужден...

– Пожалуйста...

– Но...

К черту Дюкупа! Он до смерти надоел Лурса, и Лурса открыл дверь.

– Вы должны признать, что я сделал все, что мог, лишь бы...

– Совершенно верно, господин Дюкуп...

В устах Лурса имя следователя прозвучало как ругательство.

– Что касается журналистов...

– Надеюсь, вы сами сумеете уладить это дело?

Поскорее бы он убрался отсюда, этот чертов сукин сын! Разве можно спокойно все обдумать, когда перед глазами торчит физиономия такого Дюкупа, который к тому же продушил весь кабинет запахом своей скверной помады или фиксажура.

Итак, Николь...

Он пожал руку следователю, потом секретарю и, желая положить конец всему, запер дверь кабинета на ключ.

Николь...

Он так яростно разворошил в печурке золу, что язык пламени вырвался наружу и чуть не опалил ему брюки.

Николь...

Он дважды обошел кабинет, налил полный стакан вина, стоя выпил его залпом, потом присел и стал разглядывать листок бумаги, на котором были нацарапаны имена молодых людей, тех, что назвал по телефону Дюкуп.

Николь...

А он-то считал ее просто тупой дылдой! От подъезда отъехала машина: должно быть, Дюкуп.

По всему дому расползлись чужие люди.

Что же могла натворить Николь?

III

Он не засмеялся вслух. Даже не улыбнулся, хотя испытывал чувство жгучего интереса, которое вдруг пробудило в нем какое-то радостное ощущение, почти ликование, обволакивающее, как теплая ванна.

Было около часа дня. Лурса вошел в столовую и обнаружил там Карлу, которая злобно швыряла на стол тарелки. Сам не зная почему, он не сел к столу, а стал спиной к камину, где тлел уголь.

Тут Фина, раза два нетерпеливо дернув рукой, как бы отмахиваясь от назойливой мухи, соблаговолила заговорить, роясь в ящике с серебром:

– Надеюсь, вы мне не звонили?

Он взглянул на нее и до того был поражен тем, какая их Фина маленькая, уродливая, злобная, что чуть было не спросил себя, что, собственно, она делает в его доме. Заметил он также, что на полке, где сейчас стоят тарелки, раньше хранились салфетки, и с удивлением подумал, что не замечал раньше этой перемены.

В обычное время он ждал удара колокола, извещавшего о часе трапезы, как и в те далекие времена, когда дом действительно был обитаем. После удара колокола он копался еще четверть часа, а то и больше, у себя в кабинете, потом, вдруг решившись, шел в столовую, где его поджидала Николь с книгой в руках.

Николь молча откладывала книгу и бросала выразительный взгляд на горничную, означавший, что пора подавать на стол.

А сегодня он впервые опередил Николь. Глядя на Карлу, он спросил себя, зачем она выползла на свет божий из своей подземной кухни и накрывает на стол, но тут же вспомнил, что горничную вчера рассчитали.

Все-таки любопытно! Он и сам не сумел бы сразу ответить, что же тут такого любопытного. Просто смутное ощущение какой-то новизны. Он был здесь у себя, в доме, где появился на свет божий, в доме, где он жил все это время, но он вдруг с удивлением подумал: только для того, чтобы известить двух человек о часе трапезы, зачем-то бьют в огромный монастырский колокол.

Фина вышла из столовой, даже не оглянувшись на хозяина. Она ненавидела его всеми силами души, и, не стесняясь, говорила Николь:

– Ваш грязный скот папаша...

Колокол громко звякнул. В столовую вошла Николь со спокойным, почти безмятежным выражением – по ее лицу трудно было сказать, что эта молодая особа битых два часа просидела на допросе у следователя. Видимо, она не проронила ни слезинки. Впервые Лурса заметил поразивший его факт: Николь, оказывается, занималась хозяйством! Правда, не бог весть как усердно, просто, входя, оглядела стол машинальным взглядом хозяйки дома. Потом она открыла люк и, склонившись над подъемником, произнесла вполголоса:

– Подавайте, Фина.

И об этом она подумала. Сама заменила горничную, поставила блюдо на стол и только после этого села. И все это даже не глядя на отца, не сказав ни слова о ночном происшествии, не интересуясь его переживаниями.

И хотя он ел, как всегда, неряшливо, смаковал бургундское, шумно жевал, его невольно тянуло посмотреть на Николь, но он не осмеливался сделать это открыто и лишь исподтишка бросал на нее быстрые взгляды.

И что самое удивительное, ему было бы приятно поговорить с ней о чем угодно, лишь бы услышать ее голос, да и свой собственный тоже, в этой столовой, где раздавался лишь стук вилки о тарелки да потрескивал в камине уголь.

– Подавайте, Фина! – бросила Николь в подъемник.

Николь была, пожалуй, излишне полновата, но уж никак не производила впечатление ветреной. Это-то больше всего удивило Лурса. В тяжеловесной, невозмутимой Николь чувствовалась какая-то нетронутая сила, сила покоя.

И скрепя сердце он вытащил из кармана вместе с крошками табака смятый листок бумаги, на котором записал имена, и спросил:

– А чем он занимается, этот Эмиль Маню?

Ему самому было неловко, что он заговорил, нарушил многолетнюю традицию молчания. Еще немного, и он покраснел бы от стыда, что изменил самому себе.

Николь обернулась к отцу, глаза у нее были большие, лоб гладкий. Она тут же бросила взгляд на бумагу. И, сразу все поняв, ответила:

– Служит приказчиком в книжной лавке Жоржа.

Вот здесь бы и мог получиться настоящий разговор. Если бы только Николь добавила еще несколько ничего не значащих слов, кроме тех немногих, что потребовались для точного ответа.

Но разговор иссяк. Чтобы придать себе духу, Лурса поглядел на бумажку, лежавшую возле его прибора, и зажевал с новой энергией.

В три часа он по давнишней привычке выводил себя прогуляться, как выводят прогуляться собаку; казалось даже, что он ведет себя на поводке, и всякий раз ходил он по одним и тем же кварталам, мимо одних и тех же домов.

Но сегодня, выйдя из подъезда, сразу же нарушил ритуал, остановился, оглянулся и встал на краю тротуара, разглядывая собственный дом.

Трудно было понять, что испытывает он в эту минуту, доволен он или нет. Просто все было так необычно! Он увидел свой дом! Увидел другими глазами, увидел таким, каким видел мальчишкой, а потом юношей, приезжая на каникулы сюда из Парижа, где учился на юридическом факультете.

Нет, это не было, конечно, волнением сердца. Впрочем, ни за какие блага мира он не согласился бы поддаться такому волнению. И поэтому разыгрывал брюзгу.

Во всяком случае, любопытно было отметить, что... Словом, в те пресловутые вечера «они», наверное, зажигали свет! И с улицы виден был этот свет, просачивавшийся сквозь щели ставен.

Эта дверь, выходившая в тупик, никогда не запиралась на ночь. Неужели соседи ни разу не заметили крадущиеся к ней тени?

И Николь в своей спальне с этим...

Пришлось свериться с бумажкой: с этим Маню! С Эмилем Маню! Имя вполне подходящее к бежевому плащу, к силуэту, который промелькнул в конце коридора...

Словом, если они сидели вдвоем в спальне, то, значит...

Он зашагал по улице, покачивая головой, ссутулясь, заложив руки за спину, и вдруг остановился, заметив, что на него глядит какая-то девочка. Должно быть, соседская. В свое время он знал всех жителей квартала, но с тех пор одни переехали, другие умерли. А кто и родился! Так чья же это девочка? Что она думает, глядя на него? Почему у нее такой испуганный вид?

Возможно, родители пугали ее, говорили, вот идет дядя бука или людоед.

Через минуту он поймал себя на том, что бормочет вслух:

– Ах да, она же берет уроки музыки!

Лурса снова подумал о Николь. Он редко слышал, как она играет на пианино, и игра ее доставляла ему мало удовольствия. Но он как-то не отдавал себе отчета, что Николь берет уроки музыки. Никогда он не задавался вопросом, любит ли она музыку, почему она выбрала себе именно эту учительницу, а не другую. Иногда он встречал на лестнице или в коридоре седовласую даму, которая почтительно ему кланялась.

Любопытно! И еще более любопытно, что забрел на улицу Алье, куда обычно не заглядывал во время своих послеобеденных вылазок, что остановился он и стоит перед витриной книжной лавки Жоржа, по-старомодному унылой и бесцветной витриной, освещенной так слабо, что издали казалось, будто магазин закрыт.

Лурса зашел в магазин и сразу же узнал старика Жоржа, который, сколько он его помнил, всегда был старый, угрюмый, злой, всегда носил фуражку, всегда был усатый, как морж, и бровастый, как Клемансо.

Книготорговец писал что-то, стоя за высокой конторкой, и поднял голову, лишь когда в глубине вытянутого в длину магазина, в том углу, где с утра до вечера горела электрическая лампочка и где выстроились на полках книги в черных коленкорových переплетах, предназначенные для выдачи читателям, показался молодой человек, спускавшийся с лестницы.

Первые несколько шагов он сделал вполне непринужденно и был таким, каким ему и полагалось быть; похожих юношей нередко видишь в книжном или другом магазине – не особенно определенной наружности, длинношеие, чаще всего белокурые, с невыразительными чертами лица.

Вдруг он остановился. Возможно, узнал адвоката, которого ему, очевидно, показали на улице. Как знать? А возможно, видел Лурса в его собственном доме, раз...

Поблуднев как мертвец, напрягшись всем телом, юноша бросал вокруг растерянные взгляды, словно искал помощи.

А Лурса вдруг заметил, что уже вошел в роль, даже свирепо вращает глазами!

– Что вы... Что вам...

И не смог докончить фразы! У мальчишки перехватило дыхание! Лурса видел, как судорожно заходил кадык над небесно-голубым галстуком.

Старик Жорж удивленно поднял голову.

– Дайте-ка мне книгу, молодой человек!

– Какую книгу, месье?

– Любую. Какая вам понравится...

– Покажите месье последние новинки! – счел необходимым вмешаться хозяин.

Мальчишка засуетился и только чудом не свалил на пол стопку книг. Он действительно был совсем мальчишка! Ему и девятнадцати не было, вернее всего, семнадцать. Худенький, как до времени выросший цыпленок. Настоящий петушок, который мнит себя солидным петухом!

Значит, это он, сидя за рулем машины...

Лурса что-то проворчал себе в усы. Он злился на себя за то, что думает обо всех этих вещах, даже за то, что интересуется ими. Почти двадцать лет он продержался молодцом и вдруг из-за какой-то дурацкой истории...

– Ладно! Давайте эту! Завертывать не стоит!

Говорил он сухим, злобным тоном.

– Сколько с меня?

– Восемнадцать франков, месье. Сейчас я вам дам обложку.

– Не стоит.

Выйдя из магазина, он сунул книжку в карман и почувствовал жажду. Он с трудом узнавал улицу Алье, а ведь в Мулэне она считалась главной. К примеру, возле лавки оружейника, которая ничуть не изменилась, вырос огромный «Магазин стандартных цен» с нестерпимо

яркими фонарями, выплеснувший избыток товаров даже на тротуар, а в самом магазине на полках рядом с сырами лежали ткани и стояли патефоны.

Чуть дальше, там, где улица незаметно шла под уклон, над тремя витринами, выложенными мрамором, он прочел: «Колбасная Дайа».

Этот Дайа тоже бывал в его доме с Доссеном и всей их шайкой.

Может быть, среди тех, кто суетится у прилавка колбасной, находится сейчас и Дайа-сын? Продавщицы, все в белом, очень молоденькие, носились взад и вперед с непостижимой быстротой... Вон какой-то человек в тиковом пиджаке в полоску и в белом фартуке... Да нет же! Этому рыжеватому детине без шеи на вид лет сорок... Может быть, другой рыжий, одетый точно так же, как и первый, тот, что рубит от куска мяса котлеты?

Магазин, очевидно, процветал, и Лурса удивился, как такой небольшой городок способен поглотить столько колбасных и мясных изделий!

В каком баре, сказал Дюкуп, они встречались? Лурса не записал названия. Помнил только, что это неподалеку от рынка, и углубился в узкие улочки мрачного квартала.

«Боксинг-бар»! Именно он! Небольшое решетчатое окно украшали незатейливые занавесочки в деревенском стиле. Совсем маленькое помещение, два коричневых столика и с полдюжины стульев, высокая стойка.

В баре было пусто. Шагая тяжело, по-медвежьи, Лурса хмуро и подозрительно разглядывал фотографии артистов и боксеров, приклеенные прямо к стеклу зеркала, слишком высокие табуреты, смеситель для приготовления коктейлей.

Наконец за стойкой появился человек, словно выскочил из театрального люка, да, пожалуй, так оно и было, потому что, чтобы войти сюда из соседней комнаты, приходилось нагибаться и пролезать в узкое отверстие.

Был он в белой куртке, дожевывал что-то на ходу и, неприветливо поглядев на адвоката, прогремел, схватив салфетку:

– Что угодно?

Знал ли он Лурса? Был ли он в курсе дела? Несомненно...

Несомненно также, что это явно подозрительная личность, очевидно бывший боксер или ярмарочный борец, о чем свидетельствовал перебитый нос и какой-то чересчур плоский лоб.

– Есть у вас красное вино?

По-прежнему усердно двигая челюстями, боксер взял бутылку, поднес ее к свету, чтобы посмотреть, сколько осталось вина, и наконец с равнодушным видом налил клиенту. Вино на вкус отдавало пробкой. Лурса не завел разговора, не задал ни одного вопроса. Так он и удалился, прошел быстрым шагом мрачный квартал и вернулся домой в убийственном настроении.

Он сам не помнил, как поднялся по лестнице и очутился на втором этаже. Он зажег карманный фонарик, чтобы осветить себе путь, и тут только, почувствовав в кармане какую-то постороннюю тяжесть, сообразил, что это книга.

– Идиот! – буркнул он вслух.

Ему не терпелось как можно скорее очутиться в своем углу, запереть на ключ обитую клеенкой дверь...

На пороге кабинета он нахмурил брови и спросил:

– Что это вы здесь делаете?

Бедный комиссар Бине! Никак он не ждал подобного приема. Он испуганно поднялся, согнулся в три погибели, рассыпался в извинениях. Сюда, в кабинет, его привела Жозефина, когда еще не стемнело. И ушла, бросив на произвол судьбы, а комиссар так и остался сидеть здесь, держа на коленях шляпу, сначала в сумерках, потом в полном мраке.

– Я считал, что обязан поставить вас в известность... Особенно учитывая, что все произошло у вас в доме...

Но Лурса уже снова вступил во владение своим кабинетом, своей печуркой, своим бургундским, своими сигаретами, заполняя все своим собственным запахом.

– Ну, что вы такое обнаружили? Не угодно ли?

– Не откажусь.

Тут он явно промахнулся, потому что Лурса предложил бургундского только из вежливости и сейчас тщетно рыскал по кабинету в поисках второго стакана.

Бине поспешил заверить:

– Я только так сказал... Ради бога, не беспокойтесь...

Но для Лурса это было делом чести, он решил во что бы то ни стало отыскать стакан, хотя бы даже пришлось идти в столовую. Там он и взял стакан, налил вино чуть ли не угрожающим жестом.

– Пейте!.. Так о чем вы говорили?

– О том, что хотел поставить вас в известность. Может быть, вы будете нам полезны. Нам только что звонили из Парижа. Тот человек опознан. Это довольно опасный субъект. Некто Луи Кагален, по кличке Большой Луи. Могу прислать вам копию его дела. Родился он в департаменте Канталь, в деревне. В семнадцать лет, вернувшись с пирушки, он ударил своего хозяина заступом и чуть не убил только за то, что хозяин упрекнул его в пьянстве. Из-за этой истории он находился с семнадцати до двадцати одного года в исправительном заведении, где вел себя не самым лучшим образом, и после выхода на свободу неоднократно имел неприятности с полицией, вернее, с жандармерией, так как предпочитал подвизаться в сельской местности.

Еще один, нашедший приют под кровом Лурса! В двадцати метрах от кабинета, где Лурса чувствовал себя хозяином. И никогда ему даже в голову не приходило, что...

– Думаю, господин Дюкуп сам допросит по очереди молодых людей. Я повидался с доктором Матре, который охотно сообщил мне все нужные сведения. Он подтвердил, что как-то вечером, вернее, ночью, поскольку был уже час пополудни, за ним зашел Эдмон Доссен и провел его в этот дом, потребовав сохранения профессиональной тайны. Большой Луи был довольно серьезно ранен, его сшибло машиной, которую угнала веселящаяся компания. Доктор приходил сюда еще трижды, и всякий раз его встречала мадемуазель Николь. Дважды с ней был вышеупомянутый Эмиль Маню...

Он уже опять был прежний равнодушный Лурса, грузный, с водянистым взглядом.

– А теперь я хочу поговорить с вами о самом главном. Как вы видели, Большой Луи, без сомнения, был убит в упор пулей из револьвера калибра шесть тридцать пять. Я нашел в комнате гильзу. Но мне не удалось обнаружить револьвер.

– Убийца унес его с собой! – сказал Лурса как о неоспоримом факте.

– Верно. Или спрятал! Все это очень неприятно.

И комиссар поднялся.

– Думаю, что мне незачем сюда больше приходить, – произнес он. – Но если вы хотите, чтобы я держал вас в курсе дела, то...

Лишь минут через пять после его ухода Лурса проговорил вслух:

– Странный субъект!

И добавил:

– В сущности, что он здесь делал? На что намекал?

Он оглядел письменный стол, печурку, початую бутылку вина, сигарету, дымившуюся на краю пепельницы, кресло, на котором сидел толстяк-комиссар, потом, словно с сожалением оторвавшись от этой привычной обстановки, открыл дверь и с глубоким вздохом пустился на поиски.

Но как только он подошел к парадной лестнице, кто-то поднялся со стула ему навстречу, кто-то, кто ждал его, очевидно, уже давно, подобно тому как комиссар полиции поджидал его в кабинете.

Лурса не сразу узнал Анжель, горничную, которую накануне прогнала Николь. Правда и то, что сейчас на ней была темная шляпка, синий английский костюм, кремовая шелковая блузка, подчеркивавшая ее мощный бюст, да к тому же еще она чудовищно размалевала себе все лицо – щеки чем-то лиловато-красным, а ресницы не то черным, не то синим.

– Соболаговолит она меня принять или нет?

И тут же на лестничной площадке разыгралась сцена, столь неожиданная, что Лурса почти ничего не понял. Опять обнаружилось нечто, о чем он и не подозревал, – грубость, тошнотворная вульгарность этой вдруг распоясавшейся девицы, которая хоть и недолго, но все же жила под его кровом, прислуживала ему за столом, стелила ему постель.

– Сколько вы мне дадите?

И так как он не понял, она продолжала:

– Надеюсь, еще не успели налакаться? И то верно, сейчас еще не время! Да не пяльте на меня глаза, не воображайте, что вам удастся меня запугать, да и вашей дочки, как там она ни пыжится, я тоже не боюсь. Меня голыми руками не возьмешь! Подумайте только, сажусь в поезд, еду к себе домой отдохнуть. Живу у родственников, и что же происходит: являются жандармы и уводят меня, словно воровку какую-нибудь, не сказав, в чем дело! А в суде меня целый час продержали в коридоре, даже поесть не успела! А все по милости вашей шлюхи-дочери. Будьте уверены, я им все выложила...

Даже независимо от смысла слов, хотя Лурса в них почти не вслушивался, его поразило само неистовство этой скороговорки, где звучали злоба и презрение той, которую до сегодняшнего дня он видел только в черном платье и белом фартучке.

– Я знаю, как на это смотрят в деревне, там ни за что не поверят, что жандармы могут зазря человека забрать! Если начнут справки наводить, всегда найдутся соседи, которые захотят мне напакоstitь. Вы люди богатые и можете заплатить, хоть живете как свиньи какие-нибудь...

«Как свиньи»... Это слово поразило его... Он огляделся вокруг, будто впервые увидел свое запущенное жилье.

– Сколько же вы мне дадите?

– А что вы сказали следователю?

– Не беспокойтесь, все как есть сказала! О том, что здесь творилось. Да ведь если кому рассказать, ни один разумный человек не поверил бы, пока не случилась эта история... Поначалу я даже подумала, уж не чокнутые ли вы оба... Вернее, все трое, потому что ведьма Фина вам тоже под стать... Вот уж карга, прости господи! Но это не мое дело... А вот насчет пирушек наверху с молодыми людьми, которым спать бы тихонько у себя дома...

Может быть, лучше заставить ее замолчать? Конечно! Но к чему? Любопытно послушать! Лурса с интересом смотрел на нее, стараясь понять, откуда такое неистовство.

– И еще святош разыгрывают! И еще сахар и масло на кухне проверяют. И еще если кофе чуть не такой горячий, выговоры дают! А водку глушат почище любого мужика! Из подвала бутылками тащат! Заведут патефон и пляшут до четырех утра!

Значит, был и патефон! И танцы!

– А потом мне же за ними прибирай!.. Хорошо еще, если не наблюют на пол! Хорошо еще, если в постели не валяется какой-нибудь проходимец, который, видите ли, не смог до дома добраться!.. Веселенькие дела, ничего не скажешь! А с прислугой обращаются как...

Лурса вскинул голову. Ему почудился слабый шорох. В тускло освещенном коридоре позади Анжель он заметил фигуру дочери, которая вышла из своей спальни и, неподвижно стоя, слушала.

Он молчал. Анжель все больше распалялась.

– Если желаете знать, что я говорила ему, следовательно то есть, – хоть он под конец и пытался мне рот заткнуть, – так я, не стыдясь, повторю: так вот, я сказала, что всех их пора в тюрьму упрятать, и вашу дочку заодно. Одна беда – есть люди, которых не смеют тронуть... Спросите-ка у вашей красотки, что это они таскали в свертках... А еще лучше возьмите-ка у нее ключ от чердака, если только она его найдет... А насчет того, кого они уколошили, может, они и правильно сделали, потому что он ничуть не лучше их. Ну, наслушались? Хватит, может?.. Чего вы на меня так уставились?.. Раз вы мне причинили такой ущерб да я еще сколько времени зря потеряла, вы должны дать мне тысячу франков...

Николь по-прежнему стояла неподвижно, и отец подумал, вмешается она в разговор или нет.

– А вы заявили следовательно, что намерены требовать с меня деньги?

– Я предупредила его, что хочу получить возмещение... По тому, как со мной говорили, я поняла, чем все кончится! «Не болтайте лишнего», «будьте благоразумны», «поскольку следствие еще не закончено»... И пошел, и поехал... Потому что у этих молодых людей папаши богатые да знатные!.. Рано или поздно дело замнут, что ж, тем хуже для того бедняги, который сдуру дал себя уколошить... Ну как?

– Я сейчас дам вам тысячу франков.

И даст не потому, что ее боится. И уж совсем не для того, чтобы заставить ее замолчать. Их беседа стоит тысячи франков.

Он направился в кабинет за деньгами, а заодно выпил стакан вина. Когда он вернулся к Анжель, она снова победоносно уселась на стул.

– Спасибо! – проговорила она и, сложив деньги, сунула их в сумочку.

Может быть, она уже раскаялась в своих словах? Во всяком случае, она украдкой поглядывала на Лурса.

– О вас-то лично не скажешь, что вы плохой человек, зато...

Она не закончила своей мысли. Без сомнения, потому, что не знала, что хочет сказать. И, кроме того, при ней сейчас были деньги. Как знать? Никому нельзя верить!

– Не беспокойтесь, я сама закрою дверь.

Он остался стоять в коридоре и глядел на дочь, которая находилась меньше чем в пяти метрах от него, сегодня она была в светлом платье. Если она не ушла сразу в свою спальню, значит решила, что он с ней заговорит.

Он и хотел заговорить. Даже раскрыл было рот.

Но что он ей скажет? И как?

Заговорить он не осмелился. Как-то смутился. Слишком многое от него еще ускользало. Должно быть, Николь поняла это так же хорошо, как и отец, потому что, закрыв дверь, исчезла.

А куда он направлялся, когда случайно встретил в коридоре эту фурию Анжель? Пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить. В сущности, он просто без цели бродил по дому.

Что имела в виду Анжель, говоря о чердаке? И о каком чердаке, собственно, шла речь, так как у них было целых четыре, даже пять чердаков в разных частях дома. А свертки? С чем?

Тут только он отдал себе отчет, что в его кабинете уже несколько минут надрывается телефон, но мысль о том, что надо снять трубку, пришла ему в голову не сразу, да и то потому, что этот звонок раздражал его.

Он снова вернулся в кабинет, где все было неизменно и незыблемо, где даже сам беспорядок был его родным беспорядком.

– Аллю... Что? Марта? Что вам нужно?

Сестра! Странно, что она не позвонила раньше, она, возлежащая в шезлонге на своей великолепной вилле в стиле модерн...

– Если вы будете одновременно говорить и плакать, предупреждаю, что ничего не беру.

И как только могло получиться, что эта высокая дама, бледная и изысканная, болезненная, томная, вялая, будто подкошенный цветок, – как могло получиться, что она его родная сестра!

– А мне какое дело! – сказал он, садясь в кресло и наливая себе стакан вина.

Так он ответил сестре, сообщившей, что ее сына только что вызвал к себе следователь.

– Что вы там мелете? Я?

Просто восхитительно! Сестрица упрекает его в том, что корень зла в нем, что виноват он, так плохо воспитавший свою дочь. И еще что-то...

– Чтобы я просил за?.. Да ни за что на свете!.. В тюрьму? Ну так вот, я считаю, что это им не повредит... Послушайте, Марта... Слушайте, Марта... Слушайте же, говорю я вам... Вы мне осточертели, слышите? Да, да! Именно так! Покойной ночи!

С ним не случилось такого уже давно, так давно, что он даже смутился. Он только что испытал гнев, здоровый хороший гнев, гнев этот приятно пощипывал кожу, шел из самой глубины его существа. Шумно выдохнув воздух, он буркнул:

– Вот еще...

Он не сразу выпил очередной стакан. Даже не был уверен, действительно ли ему так уж хочется оглушить себя алкоголем, как обычно.

Ставни еще не были закрыты. За стеклами, казавшимися атласно-голубыми, виднелись язычки газа, фасады, мостовые, прохожие.

Вдруг он вспомнил улицу Алье. Но не решился спросить себя, хотелось ли ему снова побывать там, смешавшись с толпой, побродить в ярком свете «Магазина стандартных цен» или перед роскошной колбасной.

В котором часу закрывается книжный магазин Жоржа? Молодой человек в плаще, Эмиль Маню, скоро кончит работу. Интересно, что он будет делать? Куда направится?

Если бы только он мог поговорить с Николь...

Должно быть, всех их мучил неотвязный страх, всех их – и сына колбасника, и банковского служащего, и этого идиота Доссена, которого каждое лето посылают лечиться в горы, потому что у него, как и у мамы, деликатное здоровье, а папаша тем временем, разъезжая по делам, кутит с девицами.

Но больше всех, должно быть, сходит с ума Рожиссар, который с первых шагов своей судейской карьеры живет под страхом могущих быть неприятностей.

Что ж, неприятности у него уже есть! Должно быть, держит со своей супругой военный совет в их пошлой спальне.

Почему Лурса вдруг вытащил из кармана смятую бумажку, положил ее перед собой на письменный стол и разгладил кончиками пальцев?

...Доссен... Дайа... Детриво... Маню...

А как звали того, убитого? Луи Кагален, по кличке Большой Луи!

Зажав перо в своей огромной лапище, Лурса вписал и это имя рядом с прочими, потом подумал, что гораздо забавнее было бы написать его красными чернилами.

Все-таки он выпил. Может быть, хоть это поможет. Потом старательно стал подкладывать уголь в печурку, проверил ключ в замке, помешал золу и делал все это не без задней мысли. Было бы неплохо повторить все свои вчерашние жесты, жить так, как вчера, когда еще ничего не произошло, не позволить себя вовлечь, потому что...

Почему, в сущности?

Дверь открылась без стука. Это была Карла, как и всегда, злобная, надутая.

– Там внизу вас ждет молодой человек, хочет с вами поговорить.

– А кто он?

– Он мне своего имени не сказал, но я его знаю...

Карла замолчала, ожидая вопроса.

– Кто же он?

– Месье Эмиль...

Эта чертова Фина произнесла «месье Эмиль», словно леденец разгрызла. Бесполезно спрашивать, что она о нем знает, очевидно, это ее любимчик, она грудью готова защищать его от своего грубияна-хозяина.

– Эмиль Маню?

Она поправила Лурса:

– Месье Эмиль... Примете его?

Месье Эмиль в своем бежевом плаще одиноко шагал по плиткам плохо освещенной прихожей, изредка задирая голову и поглядывая на чугунную лестницу, где наконец появилась Жозефина.

– Можете войти! – объявила она.

Лурса для большей уверенности налил себе стакан вина, но выпил его чуть ли не украдкой.

IV

– Садитесь!

Но тот, к кому Лурса адресовал эти слова, был в таком напряжении, что не мог заставить себя сесть. Он взлетел сюда одним духом, будто стремясь опередить самого себя, и застыл, натолкнувшись на внезапно возникшую перед ним реальность: жарко натопленная комната, старый бородач с опухшими веками, сидевший в кресле.

– Я пришел вам сказать...

И тут, сам того не желая, возможно, в силу внутреннего протеста против чего-то, Лурса заорал:

– Да садитесь же, черт вас побери!

Конечно, неприятно разговаривать сидя, когда собеседник стоит, однако это еще не причина, чтобы так орать. Молодой человек, как громом пораженный, с ужасом глядел на Лурса, даже не подумав взять стул. На нем был бежевый плащ грязноватого цвета; такой оттенок со временем приобретает одежда, которая не один сезон висит на улице перед магазином готового платья. Поношенные ботинки, очевидно, уже не раз побывали в руках сапожника.

Неожиданно поднявшись с места, Лурса сам пододвинул кресло своему собеседнику и, облегченно вздохнув, снова уселся.

– Вы пришли мне сказать?..

Юноша смешался. Как только его прервали, запал его кончился, он совсем сник. Но, однако, самообладания не потерял. В нем удивительно уживались униженность и гордыня.

Хотя Лурса сердито глядел на незнакомца, тот не отвернулся и, казалось, всем своим видом говорил: «Только не воображайте, что вы меня запугали».

Но губы его дрожали, и дрожащими пальцами он теребил край фетровой шляпы.

– Я знаю, что вы думаете, знаю, почему вы приходили сегодня в книжную лавку...

Он первым пошел в атаку, простодушный и в то же время замкнутый, и в его устах фраза эта означала примерно следующее: «Пусть вы адвокат, пусть вы пожилой человек, пусть живете в особняке и пытаетесь меня запугать, я сразу все понял...»

А Лурса тем временем старался вспомнить, был ли он в свое время таким же худеньким, костлявым, с жиденькими икрами, с выступающим кадыком, с хмурым взглядом, готовый каждую минуту взорваться. Интересно, что испытывал он в ту пору при виде сорокапятилетнего мужчины – уважение или страх?

Голос Эмиля Маню прозвучал твердо, когда он заявил:

– Это не я убил Большого Луи!

Теперь он с трепетом ждал ответа врага, а Лурса тем временем старался изобразить на своем хмуром лице улыбку.

– А откуда вы знаете, что Большого Луи убили?

И тут же понял, что слишком поторопился, совершил промах. Газеты, точнее, единственная выходившая в Мулэне газета еще ничего не сообщила о ночном происшествии. Соседи, если они и видели карету морга, стоявшую у подъезда дома Лурса, не знали точно, что случилось.

– Потому что знаю!

– Вас кто-то известил?

– Да... Я недавно получил от Николь записку.

Видно было, что он решил заранее действовать в открытую, и во взгляде его явно читалось: «Вы сами видите, я ничего от вас не таю! Можете шпионить за мной, как сейчас шпионите, можете следить за каждым моим движением...»

И, желая дать доказательство своей искренности, он вынул из кармана записку:

– Вот! Прочтите!

Это действительно был четкий почерк Николь: «Большой Луи умер. Следовательно мучил меня в течение двух часов. Я сказала ему все о происшествии и о наших сборищах и назвала имена».

И все. Ни обращения, ни подписи.

– Когда я приходил в книжную лавку, вы уже получили эту записку?

– Да.

– Значит, вам ее принесли?

– Принесла Фина. Она всем нам разнесла записки...

Итак, Николь сразу же после допроса, который учинил ей Дюкуп, села и хладнокровно написала пять или шесть записочек!.. И Карла бегала по всему городу, чтобы поскорее вручить их адресатам!..

– Вот чего я не могу взять в толк, молодой человек: почему вы пришли именно ко мне, да, да, ко мне, чтобы сообщить, что не вы убили Большого Луи?

– Потому что вы меня видели!

Теперь он открыто бросал вызов Лурса и смотрел на него таким напряженным взглядом, что адвокату даже стало не по себе.

– Я знал, что вы меня видели и что, возможно, даже узнали. Поэтому-то вы и пришли в книжную лавку. Если вы сообщите об этом полиции, меня арестуют...

Сейчас перед Лурса был взрослый мужчина, нервный, страстный, и эта удивительная двойственность, уживавшаяся в юнце, совсем сбила адвоката с толку. Но уже через минуту нижняя губа Эмиля дрогнула, как у ребенка, готового разреветься, лицо обмякло, и Лурса невольно подумал, что просто грешно принимать этого мальчика всерьез...

– А если меня арестуют, моя мать...

Боясь расплакаться, он сжал кулаки, вскочил с кресла и с ненавистью поглядел на этого человека, пытавшегося его унижить, медленно потягивавшего – в такую минуту! – вино.

– Я знаю, что вы мне не верите, знаю, вы отправите меня в тюрьму, и моя мать лишится учеников...

– Потихе! Потихе! Вина не желаете? Ну, как угодно. Почему вы говорите о матери, а не об отце?

– Отец давно умер.

– А кем он был?

– Работал чертежником у Доссена.

– Где вы живете? Вы живете вдвоем с матерью?

– Да. Я единственный сын. Живем мы на улице Эрнест-Буавенон...

Новая улица, в новом квартале, неподалеку от кладбища, новенькие чистенькие домики, где ютится мелкий люд. Молодой человек, видимо, ненавидит эту улицу Эрнест-Буавенон, стыдится, что живет там; это чувствовалось даже в тоне, каким он произнес ее название. Гордый юноша! Он даже переиграл, спросив:

– А вам-то что до этого?

– Я ведь просил вас сесть...

– Извините!

– Если я видел именно вас спускающимся по черной лестнице, мне было бы интересно знать, что вы делали на третьем этаже. Незадолго до этого вы вышли из спальни Николь. Полагаю, вы собирались идти домой?

– Да.

Как бы повел себя сам Лурса в восемнадцать-девятнадцать лет, если бы очутился в подобном положении? Ведь, в конце концов, мальчуган разговаривает с отцом Николь, с отцом, который знает, что в полночь этот самый мальчуган вышел из спальни его родной дочери!

Но именно сейчас, когда разговор дошел до самого опасного пункта, Маню вдруг успокоился.

– Я хотел спуститься и выйти в тупик, но как раз в эту минуту, когда я был уже на лестнице, раздался выстрел. Сам не знаю, почему я не бросился бежать, а поднялся вверх. Кто-то вышел из комнаты Большого Луи...

– Вы видели убийцу?

– Нет. В коридоре было темно.

Он так старался глядеть прямо в лицо адвокату, что, казалось, твердил про себя: «Вы же видите, я не лгу! Клянусь вам, я его не узнал».

– Ну а потом что?

– Должно быть, тот мужчина меня увидел или слышал мои шаги...

– Значит, это был мужчина?

– Думаю, что да.

– А не могла это быть, предположим, Николь?

– Нет, ведь я только что попрощался с ней на пороге ее спальни...

– А что сделал этот мужчина?

– Бросился бежать по коридору. Потом вошел в одну из комнат и заперся на ключ. Я испугался и стал спускаться...

– Даже не попытавшись узнать, что случилось с Большим Луи?

– Да.

– Вы сразу же и ушли?

– Нет. Я остался на первом этаже и слышал, как вы подымаетесь.

– Значит, кроме вас, в доме находилось еще одно постороннее лицо?

– Я говорю правду!

Потом добавил скороговоркой:

– Я пришел просить вас, если только еще не поздно, никому не говорить, что я был здесь. Матери и без того много горя... А главное, все это свалится на нас... Мы небогаты...

Лурса не шевелился, свет от лампы, стоявшей рядом на письменном столе, как бы вставил его в оправу мрака, и от этого он казался еще шире, еще массивнее.

– Я хотел вам сказать также...

Эмиль Маню шмыгнул носом, потупился, потом вдруг быстро вскинул голову, и в этом движении снова почувствовался вызов.

– Я собирался просить у вас руки Николь... И если бы всего этого не произошло, я сумел бы добиться положения...

Он весь был в этом: деньги, положение, мучительный комплекс неполноценности, бремя, против которого он боролся всеми силами, но так неуклюже, что то и дело начинал дерзить.

– Вы рассчитывали уйти из книжной лавки Жоржа?

– А вы думаете, что я всю жизнь буду приказчиком?

– Ясно! Ясно! И вы, без сомнения, собирались переехать в Париж...

– Да, собирался.

– И делать там дела?

Эмиль Маню уловил насмешку в голосе адвоката.

– Не знаю, какие я делал бы дела, но, надеюсь, сумел бы устроиться не хуже других...

Так и есть! Ну вот он, этот болван, еще и разревелся!.. И виноват в этом Лурса, который не сумел подойти к нему по-человечески, теперь он уставился на мальчишку, и в его больших глазах читалась досада и невольная жалость.

– Я люблю Николь... Николь меня любит...

– Так я и думал, раз она принимает вас ночью в своей спальне.

Лурса не мог сдержаться. Это было сильнее его. И однако, он отлично понимал, что в представлении этого юноши он настоящее чудовище – одна уж обстановка кабинета чего стоила...

– Мы поклялись друг другу, что поженимся...

Обшарив все карманы, он вытащил носовой платок, ему удалось вытереть глаза, высморкаться, отдышаться, и тут только он решился посмотреть на Лурса.

– Как давно вы знаете Николь?

– Очень давно... Она часто приходила к нам в магазин менять книги.

– Там вы и познакомились?

– Нет... Я ведь простой приказчик!

Опять! С каким трудом он переносит свою жалкую участь.

– А потом о ней говорила мне мама... Мама к вам ходит... После смерти отца она преподает музыку и только поэтому смогла дать мне образование... Николь очень часто отменяла уроки, мама поэтому о ней и говорила. Николь в одиннадцать часов утра еще спит...

В иные минуты, как, например, сейчас, он, очевидно, был способен говорить вполне миролюбиво, откровенно.

– А в их компанию меня ввел Люска...

– Что это еще за Люска?

– Разве вы не знаете магазин его отца? Это напротив мужской школы... Там продают игрушки, шары, конфеты, удочки... А сын служит приказчиком в «Магазине стандартных цен»...

Почему упоминание мужской школы и торговца шарами заставило Лурса задуматься? В его время напротив школы не было магазина Люска; там на маленьком столике раскладывала свой товар славная женщина, тетушка Пино, торговавшая леденцами и винными ягодами...

Если бы в кабинете не сидел этот молодой человек, Лурса, возможно, подошел бы к зеркалу поглядеть на себя, потому что вдруг с удивлением почувствовал жесткую щетину, густо покрывавшую щеки и подбородок.

– Итак, с кем же познакомил вас этот самый Люска? И где?

– У Джо.

– А кто это Джо?

– Бывший боксер, он содержит «Боксинг-бар» у рынка...

Самое волнующее во всем этом было то, что сейчас Лурса жил как бы в двух различных планах. Само собой разумеется, Лурса был здесь, сидел за письменным столом, заполняя своим

объемистым задом все кресло, перебирая неухоженными пальцами бороду. Справа от него стояла бутылка вина, позади была печурка, вдоль стен – книги, все привычные предметы на положенных местах.

Однако он впервые осознал, что он здесь, что он – Лурса, что ему сорок восемь лет и что он такой грузный, такой бородатый, такой неопрятный! И слушает то запинаящуюся, то торопливую речь молодого человека, лишь украдкой поглядывая на него.

«Я тоже был таким же худым», – думал Лурса.

Но у него, Лурса, не было друзей. Он жил один. Источником его увлечения были идеи, философы и поэты. Возможно, от этого и пошло все зло. Он попытался представить себя таким, каким был, когда ухаживал за Женевиевой, представить себя с ней рядом.

А между тем Эмиль Маню, который и не подозревал, в каких эмпиреях витает мыслью его собеседник, продолжал рассказывать:

– Я явился туда в тот вечер, когда произошел случай с машиной. Ужасно я невезучий. Это у нас в семье. Мой отец умер в тридцать два года...

Лурса с удивлением услышал свой собственный вопрос:

– От чего умер?

– От воспаления легких, а заболел он в воскресенье, когда мы ходили на праздник авиации и вдруг начался дождь...

Кто же еще умер от той же болезни? Брат Женевиевы, но он был моложе, ему не исполнилось и двадцати четырех, а случилось это вскоре после женитьбы Лурса.

Сигарет на столе не оказалось, и это раздражало Лурса. Ему почудилось, что то время, когда с ним еще была Женевиева, и сегодняшний день разделяет вовсе не бездна, а стоячее болото, грязная лужа, в которой он барахтался и барахтается и поныне.

Ну нет, дудки! Вон, оказывается, куда увлек его этот нервозный, очоленевший от гордости мальчишка.

– Вы угнали машину, которая вам не принадлежала?

– Эдмон сказал, что они всегда так поступают, когда Дайа не может взять грузовичок...

– Ах так! Значит, обычно вы разъезжали на грузовичке колбасника?

– Да! Их гараж далеко от дома, и отец Дайа не знал, что мы берем грузовичок.

– Стало быть, родители вообще ничего не знали! А что вы делали у Джо?

– Эдмон учил меня играть в покер и экарте...

Еще одна особа, в данном случае его сестрица Марта, обомлеет, узнав, чем занимался ее сынок! Пожалуй, самое невероятное, что в этой истории замешан Эдмон Доссен – хрупкий, высокий юноша с нежным румянцем, с девчоночьими глазами, трогательно ухаживающий за больной матерью.

– Эдмон был главарем?

– Пожалуй... Хотя, собственно говоря, у нас вообще главаря не было, но...

– Понятно!

– Так как я был новичок, они меня напоили. Потом сказали, что мы поедем на машине в «Харчевню утопленников»...

– Разумеется, Николь была с вами?

– Да.

– В сущности, с кем она была особенно близка? Ибо законно предположить...

Эмиль вспыхнул:

– Не знаю... Сначала я тоже думал... Но он поклялся головой матери, что между ними ничего нет...

– Кто же это?

– Доссен... Просто это была игра... Обоим хотелось, чтобы этому верили... Они нарочно вели себя и разговаривали так, словно были близки...

– Вы угнали первую попавшуюся машину?

– Да... У меня есть права... хотя пользуюсь я ими нечасто... И так как у нас нет машины, то практики мне тоже не хватает... Шел дождь... А на обратном пути...

– Минуточку! А что вы делали в этой самой харчевне?

– Ничего... Когда мы приехали, было уже заперто... Это маленький ресторанчик на самом берегу... Хозяйка встала с постели и подняла своих девочек...

– Там и девочки тоже есть?

– Всего две... Ева и Клара... По-моему, они не такие, как вы подумали... Впрочем, я сначала тоже так думал... Эдмон пытался мне это внушить... Мы танцевали под патефон... А пили только пиво и белое вино, больше там ничего не было... Ну вот мы и решили...

– Продолжить пирушку здесь?

– Да.

Хотя внешне поведение Лурса ничуть не изменилось, Эмиль, однако, почувствовал, что ему можно сказать все.

– Я даже не знаю, как произошел несчастный случай. Еще в «Боксинге» они заставили меня выпить ерша... А в харчевне я пил белое вино... Когда я хотел затормозить машину, было уже поздно... Меня вырвало... Тогда за руль сел Дайа, и, по-моему, им пришлось помочь мне взойти...

– Взойти сюда наверх?

– Да... Я заснул... И проснулся в четыре часа утра, когда доктор уже ушел...

– А Николь?

– Она не спала и сидела возле меня. Все уже разошлось по домам, за исключением Большого Луи, его положили в постель, и он на нас так смотрел... Мне было ужасно стыдно... Я попросил прощения у Николь и у этого человека, ведь я тогда еще его не знал...

Эмиль снова поднялся, видимо испугавшись, что наболтал лишнего и теперь уж наверняка попал в ловушку, расставленную адвокатом.

Но тут ход его мыслей внезапно изменился, и он заявил решительным тоном:

– Если полиция за мной придет, я успею покончить с собой!

Откуда у него вдруг такие мысли? Почему он снова весь как-то сжался, продолжая свою исповедь?

– Сам не знаю, зачем я вообще к вам пришел. Возможно, просто по глупости... Но прежде чем уйти, я хочу попросить у вас разрешения сказать два слова Николь...

– Да садьте вы!

– Не могу... Простите меня, пожалуйста, но я пережил страшный день. Мама ни о чем не догадывается... И однако, уже целые две недели она очень беспокоится, так как я возвращаюсь домой поздно... Разве это моя вина, скажите?

Уж не надеялся ли он, что Лурса станет его утешать? Очень возможно, что и так. И вовсе это у него не от цинизма. Тут обдуманного намерения нет. Во всей этой истории он видел лишь себя, себя одного, вернее, себя и Николь, что одно и то же, ибо Николь существовала только в связи с ним.

Разве Лурса, когда его бросила жена...

Привычным жестом он опрокинул стакан вина; и снова подумал, почему в связи со всеми этими мальчишескими историями он все время возвращается мыслями к самому себе. Только сейчас он это заметил. В течение целого часа он думал в первую очередь о себе, а не об Эмиле, Николь и их дружках. В голове у него все смешалось, как будто могла существовать какая-то связь между событиями сегодняшнего дня и теми, давно отошедшими в прошлое.

Ничего общего! Ничего похожего! Вовсе он не был бедным, как этот Маню, не был евреем, как Люска, не был таким хилым, как его племянник Доссен. Он не ходил в «Боксинг-бар» и не развлекался, выдавая двоюродную сестру за любовницу.

Его и этих молодых людей разделяло не только то, что принадлежали они к разным поколениям.

Он был одиноким, вот кем он был. Только сейчас ему открылась истина! Даже подростком он был одинок из гордости. И думал, что можно остаться одиноким, живя вдвоем... А потом в один прекрасный день вдруг обнаружил, что дом его пуст...

Но почему ему было так неприятно чувствовать под пальцами жесткую щетину бороды?

Неужели надо признаться самому себе, что им овладело некое чувство, до ужаса напоминавшее обыкновенное унижение?

Может быть, оттого, что ему уже сорок восемь лет? Оттого, что он опустился, ходит грязный? Или пьет?

Он не хотел об этом думать. Уже дважды до него долетали удары колокола, извещавшие о часе обеда, а он даже не пошевелился.

В длинном коридоре прозвучали чьи-то шаги, кто-то повернул ручку двери. Потом спохватился и постучал.

– Кто там?

– Это я.

Ровный голос Николь. Лурса открыл дверь. Ясно, дочь уже знает, что Маню у него в кабинете. Карла, конечно, не преминула сообщить ей об этом.

Поэтому-то, черт возьми, она так спокойна, поэтому-то так аккуратно уложила свои белокурые волосы, собранные тяжелым узлом на затылке, поэтому так безмятежен ее взгляд и даже не порозовела ее матовая кожа!

– Я не хотела вас беспокоить...

Она подошла к юноше, протянула ему руку:

– Добрый день, Эмиль.

Выходило, что чуть ли не он, Лурса, здесь лишний.

– Добрый день, Николь! Я во всем признался твоему отцу...

– И хорошо сделал!

Они были на «ты»! Даже Карла, дувшаяся на весь божий свет, и та называла его месье Эмиль... Они, именно они, были близкими в этом доме. Это они образовали союз! Это они – семья!

И не его, отца, а Эмиля спросила Николь:

– Ну, что же вы решили?

Лурса повернулся к ним спиной, ибо не был уверен, что выражение лица не выдаст его, а он не желал давать им повод торжествовать над собой. Оставался единственный способ с честью выйти из положения – налить себе стакан вина и выпить. Почему его жест вызывает в них брезгливое чувство? Разве сами-то они не пьют?! Ведь их шайка только тем и занималась, что пила напропалую и танцевала под патефон.

Уж не ищет ли он себе оправдания? Никто на него и не собирався нападать. А раз он повернулся к ним спиной, так и осталось невыясненным, что именно выразили их лица – брезгливость или простое неодобрение.

Правда...

Да, да, вся правда в том, и он вынужден это признать, что в течение этого часа, может, с самого утра, а возможно, уже очень давно его тяготило одиночество! В конце концов оно превратилось в какой-то тоскливый страх, приобрело приторный вкус стыда.

Один во времени и пространстве! Один с самим собой, наедине с этим грузным, плохо ухоженным телом, с этой неаккуратно подстриженной бородой, с этими большими глазами, по которым сразу видно, что он страдает печенью, наедине со своими какими-то прогорклыми мыслями и с бургундским, от которого его подчас мутит.

Когда он обернулся, лицо его, как и всегда, кривила недобрая усмешка.

– Чего же вы ждете?

Они, бедняжки, и сами не знали, чего ждут! Эмиль окончательно растерялся, и только спокойствие Николь помогло ему обрести равновесие.

– Можно, я провожу его донизу? – спросила дочь.

Лурса только молча пожал плечами.

Они не успели сделать по коридору и десяти шагов, а он уже подошел к зеркалу и уставился на свое отражение.

– Алло!.. Это вы, Гектор?

Опять Зануда!

– Я просто с ума схожу от волнения. Не заглянете ли вы ко мне хоть на минутку?... Шарль по делам в Париже. Я постаралась объяснить ему по телефону, что случилось, но он раньше завтрашнего дня приехать не сможет...

Лурса был неумолим. Пусть сестра хоть в ногах у него валяется, пусть корчится от страха, он даже пальцем не пошевелит. А его раздушенный зятек, конечно, в эту самую минуту обедает с девочками в отдельном кабинете!

– Послушайте, Эдмон еще не вернулся... Я боюсь говорить об этом по телефону... Как, по-вашему, нас не подслушивают?

Лурса нарочно ничего не ответил.

– До сих пор он сидит у следователя... Дюкуп мне только что звонил... Вернее, я просила об этом Рожиссара, просила, чтобы меня держали в курсе дела. Кажется, допрос еще не кончен... Дюкуп не сообщил мне никаких подробностей, но дал понять, что все гораздо серьезнее, чем ему казалось поначалу, и что дело будет трудно замять.

– Ну и что? – спросил он, нарочно усиливая хрипоту в голосе.

– Но, Гектор...

– Что?

– Ведь все произошло в вашем доме. Это Николь... Короче, если бы вы следили за ней... Извините, пожалуйста... Нет! Я вовсе не это хотела сказать... Поймите, я совсем больна от волнения. Я вынуждена была лечь в постель и вызвала врача.

Она и так вызывала врача три-четыре раза в неделю по любым пустякам: то у нее был истерический припадок, то просто не знала, как убить время...

Болезни для нее то же самое, что красное вино для ее родного брата!

– Послушайте, Гектор!.. Сделайте над собой усилие... Приезжайте ко мне сейчас... Вернее, будьте милым...

– Я не милый!

– Да замолчите! Я сама знаю, какой вы! Но не могу же я в моем теперешнем состоянии идти в суд. Зайдите за Эдмоном и приведите его, если допрос уже кончился. Я так боюсь, что он наделает глупостей! Приведете его домой и, кроме того, дадите мне совет... Вернее, дадите совет ему...

Ответит он или нет? Во всяком случае, он что-то буркнул. Потом положил трубку и продолжал стоять у письменного стола, сердито хмурясь, потому что по-прежнему чувствовал себя чужаком.

Уходя, Николь не закрыла за собой дверь. Он прошел по коридору, заглянул в столовую, где за столом уже сидела дочь.

Николь поднялась, как по сигналу, открыла дверцу подъемника:

– Суп, Фина!

Она избегала глядеть на отца. Что она о нем думает? Что сказал ей Маню, когда она провожала его до двери? Какими были их прощальные объятия?

Вдруг он почувствовал усталость. Его плоть тосковала, как по утрам, до первого стакана вина.

– Какой сегодня суп? – спросил он.

– Пюре гороховое.

– А почему в таком случае нет гренков?

Фина забыла сделать гренки! А ведь к гороховому супу полагаются гренки! Он вспыхнул:

– Ясно, носится по городу, разносит молодым людям записки, где же ей заниматься кухней! И само собой разумеется, никто не позаботился нанять новую служанку.

На него взглянули удивленные глаза Николь. Впервые за много лет он проявил интерес к хозяйственным делам и сам не заметил этого.

– Я уже нашла служанку, она придет завтра утром.

Тут он чуть было не взорвался. Оказывается, несмотря на все, что произошло, несмотря на допрос, записки, которые она успела разослать, несмотря на то, что их дом полон полиции, несмотря... несмотря ни на что, она, видите ли, еще позаботилась найти новую горничную вместо Анжель.

– А откуда она? – подозрительно осведомился Лурса.

– Из монастыря.

– Как? Как? Откуда?

– Она работала в монастыре прислугой. А теперь она обручена... Зовут ее Элеонора...

Не мог же он в самом деле злиться из-за того, что их новая служанка зовется Элеонорой!

Он принялся за еду, но, не кончив тарелки, вдруг заметил, что со свистом втягивает суп, сидит, низко нагнувшись над столом, громко отдувается, как плохо воспитанные дети или крестьяне.

Он покосился на Николь. Она не глядела в его сторону. Привыкла к этому! Ела она аккуратно, думая о чем-то своем.

И тут он поспешно, даже слишком поспешно снова уткнулся в тарелку, потому что без всяких видимых причин с ним случилось нечто идиотское, невероятно идиотское, в чем он сам не разобрался и что не должно было случиться: у него вдруг защемило в глазах, лицо вспухло.

Хорошенький, должно быть, у него вид!

Но ведь эти поганые ребята...

– Куда вы идете, отец?

Она назвала его отцом! Не папой же его называть! Только этого не доставало! Он был просто не в состоянии сразу ответить на ее вопрос. Швырнув скомканную салфетку на стул, он направился к двери.

И только на пороге ему удалось выдавить из себя:

– К тете Марте! Уф!

Но самое невероятное было то, что он действительно надел пальто и пошел к Марте.

V

У него было такое впечатление, будто он погружается в самую гущу жизни. Он делал давно забытые жесты и движения, возможно, делал их всегда, но как-то не отдавая себе в этом отчета, – например, зябко поднял воротник пальто, поглубже засунул руки в карманы, наслаждаясь холодом и дождем, тайной, которую хранили эти улицы, все пятнистые, все блестящие от света.

Еще спешили куда-то прохожие, и он даже подумал: куда идут все эти люди? Как давно ему не доводилось вечерами выходить из дома? На улице Алье прибавились новые огни, и кинотеатр помещался не там, где прежний, извещавший о начале сеанса непрерывным дребезжанием звонка.

Лурса шагал быстро. Пока еще он поглядывал на людей и предметы искоса, словно стыдась своего любопытства. С первого раза он не сдастся. Он бормотал что-то себе под нос. Когда он позвонил у двери дома Доссенов – сплошное стекло и чугун, – к нему уже вернулась обычная озлобленность, и она сверкнула в презрительном взгляде, которым Лурса смерил одетого наподобие бармена, в белую курточку, дворецкого, бросившегося снимать с посетителя пальто.

– Где сестра?

– Мадам в малом будуаре. Не угодно ли месье следовать за мной?

А что, если взять и не вытереть ног, просто так, из протеста против этого белоснежного холла, против всей этой новизны, этого модерна, против всей этой кричащей роскоши? Конечно, он этого не сделал, но все-таки подумал.

Затем зажег сигарету, а спичку кинул на пол.

– Входите, Гектор... Закройте дверь, Жозеф... Когда месье Эдмон вернется, попросите его пройти прямо ко мне.

Лурса уже весь ошетинился, как кабан. Он не любил сестру, хотя она ничего худого ему не сделала. Он сердился на нее за ее страдающий вид, за ее вялую и тусклую элегантность, а может быть, еще и за то, что она вышла замуж за Доссена, живет в этом особняке и держит великолепно вышколенную прислугу.

Но тут не было зависти. Доссены не богаче его самого.

– Садитесь, Гектор... Как мило с вашей стороны, что вы пришли... Вы не заглянули по дороге в суд? Что вам, в сущности, известно? Что вам сказала Николь? Надеюсь, вы заставили ее все сказать...

– Ничего я не знаю, кроме того, что они в моем доме убили человека!

В эту минуту он спрашивал самого себя, почему он так не любит Доссенов, и не находил достаточно убедительного ответа. Конечно, он презирал их за тщеславие, за особняк, который они себе построили и который стал смыслом их жизни. Сам Доссен со своими усиками, пропахшими ликером или духами сомнительных дам, был в его глазах олицетворением счастливого болвана.

– Неужели вы, Гектор, хотите сказать, что это дети...

– Очень похоже...

Она поднялась с кушетки, забыв о своих болях – после рождения Эдмона у нее вечно ныл живот.

– Вы с ума сошли! А если вы шутите, так это просто гнусно. Вы же знаете, я вся дрожу. И звонила я вам потому, что не в силах одна справиться со своей тревогой. Вы пришли ко мне! Это целое событие! Но вы, оказывается, пришли лишь затем, чтобы цинично заявить, что наши дети...

– Вы, по-моему, хотели знать правду?

В сущности, если бы в свое время ничего не произошло, теперь его жене – ибо тогда он имел бы жену – было бы почти столько же лет, сколько Марте. Интересно, поддались бы и они тоже поветрию, охватившему в последние годы все богатые семьи Мулэна, построили бы себе новый дом или нет?

Трудно сказать. Кроме того, глядя на сестру, он думал разом о множестве вещей. Особенно остро он чувствовал, что не может представить себя женатым, возможно, даже отцом других детей, не знает, чем бы он занимался все эти годы.

– Послушайте, Гектор! Я знаю, что вы не всегда бываете в нормальном состоянии. Возможно, вы сегодня уже выпили. Но поймите, сейчас не время сидеть взаперти в своей грязной норе! В том, что произошло, есть доля и вашей вины. Если бы вы воспитали свою дочь как полагается...

– Послушайте, Марта, вы меня позвали для того, чтобы ругать?

– Да, если только таким путем вы сможете осознать свой долг!.. Эти дети не несут ответственности... В каком другом доме они могли собираться ночами и вытворять глупости?.. Знаете, о чем я думаю? Действительно ли вы не были в курсе всего, что у вас творилось?.. А теперь вы не хотите пальцем пошевелить... Вы же адвокат... В суде вас жалеют, но уважают, несмотря ни на что...

Она так и сказала – «несмотря ни на что!». Сказала, что его жалеют.

– Не знаю, похожа ли Николь на свою мать, но...

– Марта!

– Что?

– Поди сюда...

– Зачем?

Чтобы дать ей пощечину! Он и дал, и сам не меньше сестры удивился своему жесту. И проворчал:

– Поняла?

Впервые с тех пор, как они стали взрослыми, он обратился к ней на «ты».

– Я ведь не интересуюсь ни твоим супругом, ни...

И замолчал. Замолчал вовремя. Неужели же он, который презирает их всех – и этих, и тех, – он, у которого хватило силы восемнадцать лет просидеть в одиночку в своем углу, в своей норе, прибегнет к подобным аргументам? Возьмет да и крикнет сестре, что ее муж, вечно находящийся в разъездах, обманывает жену на каждом шагу, что весь город это знает, она сама это знает и что ее вечные недомогания и плохое здоровье их Эдмона дружно приписывают застарелой дурной болезни?!

Он неуклюже тыкался по комнате в поисках своей шляпы, забыв, что ее взял дворецкий. Марта плакала. Трудно было сейчас представить себе, что обоим уже за сорок, что оба они, что называется, люди рассудительные.

– Вы уходите?

– Да.

– И не дождетесь Эдмона?

– Если будут какие-нибудь новости, пусть придет ко мне завтра утром.

– Вы выпили?

– Нет.

Просто он злился; и особенно его злило, если хорошенько разобраться, то, что впервые он задал себе вопрос: «Почему целых восемнадцать лет я жил как медведь?» Он даже спросил себя, действительно ли в этом повинна Женестьева, то, что она ушла к другому и что он страдал от их разрыва.

Разве в его студенческой комнатке в Париже не царил тот же беспорядок, что и в его теперешнем кабинете, та же подозрительная обжитость? Уже в те времена он жадно вгрызался в книги, целыми часами читал и перечитывал поэтов и философов, с каким-то стыдливым удовольствием приносиваясь к собственным запахам.

Очутившись в холле, он вырвал шляпу из рук дворецкого, обернулся, снова смерил его презрительным взглядом и тут же подумал: «Интересно, за кого этот тип меня принимает!»

Правда заключалась в том, что он никогда не пытался жить. И понял он это только сейчас, когда вылез из своей норы в город, и, пожалуй, еще удивительнее было то, что ему не хотелось возвращаться домой; он снова принялся бродить по улицам.

Так же как он искоса следил за дворецким сестры, Лурса приглядывался теперь к скользившим мимо теням прохожих, к силуэтам людей, казавшихся особенно таинственными в пропитанной дождем полутьме.

Интересно, что во всем этом узрела его сестрица? Ясно: все, кроме правды. Она сказала, что его, видите ли, жалеют! Считают оригиналом, несчастненьким. Почему уж тогда не просто босяком?

А он их всех презирает, ненавидит, всех подряд! Всех этих Дюкупов, Доссенов, Рожисаров и иже с ними, тех, которые воображают, что они живые люди, только потому...

От его пальто пахло мокрой шерстью, и в бороде, как жемчужинки, поблескивали капли дождя. Когда он добрался до улицы Алье, держась, сам не зная почему, поближе к домам, он решил, что похож на пожилого господина, боязливо пробирающегося в подозрительный притон.

Он прошел мимо пивной. Стекла запотели, но все-таки было видно, как в зале, среди клубов табачного дыма, одни посетители сражаются в бильярд, другие в карты; и Лурса вспомнил, что никогда не был способен вписаться вот так в чужое спокойное существование. Он завидовал этим людям. Завидовал всем, кто жил вокруг него, рядом с ним, завидовал незнакомым прохожим, которые шагали мимо, шли куда-то.

Завидовал Эмилю Маню! Трепещущему, как туго натянутая струна, издерганному, до того нервному, что мучительно было следить за слишком частыми переменами его лица; этому Маню, то говорившему о своей любви, то о смерти, недоверчиво и пристально приглядывавшемуся к Лурса, умолявшему его, готовому тут же вновь перейти к угрозам!

Эмиль Маню с друзьями проходил по этим улицам в тот же час. И Николь с ними! День за днем, час за часом они придумывали себе приключения.

А родители тем временем притворялись, что живут, украшали свои дома, заботились о выправке слуг, о качестве коктейлей, беспокоились, удался ли им званный обед или партия в бридж.

Вот Марта заговорила о своем сыне. Полно, да знает ли она его? Совершенно не знает! Не знает так же, как Лурса еще накануне не знал своей дочери!

Дойдя до «Боксинг-бара», он, не колеблясь, открыл дверь и отряхнул мокрое пальто.

Небольшая комната, освещенная неярким светом ламп, была почти пуста. На столике дремала кошка. Около стойки хозяин с двумя женщинами играл в карты; с первого взгляда Лурса догадался, что обе его партнерши принадлежат к той ночной породе дам, которые выполняют на улице только с наступлением темноты.

Никогда он не думал о том, что такие существуют в их Мулэне. Он сел, скрестил ноги. Джо, положив на стол карты и недокуренную сигарету, подошел к нему:

– Чем могу служить?

Лурса заказал стакан грога. Джо поставил воду на электрическую плитку и, пока вода грелась, украдкой поглядывал на клиента. Женщины тоже смотрели на него, посасывая сигареты. Кажется, одна из них собиралась испробовать на Лурса свои чары, но Джо махнул ей рукой, как бы говоря, что ничего, мол, не выйдет.

Кошка громко мурлыкала. В баре было удивительно спокойно. Даже шаги прохожих не были слышны.

– Может, вы хотите со мной поговорить, месье Лурса? – спросил Джо, поставив перед посетителем стакан грога.

– Вы меня знаете?

– Когда вы заходили сюда после полудня, я сразу решил, что это вы. Я ведь слышал, понимаете?

И он машинально кинул взгляд на стоявший в углу столик, за которым, очевидно, и собиралась вся компания.

– Разрешите?

Он присел рядом с Лурса. Женщины покорно ждали.

– Просто удивительно, что полиция до сих пор меня не допросила. Прошу заметить, я к этому делу никакого касательства не имею. Напротив, если кто и мог их утихомирить, так только я один! Но сами знаете, как в их годы...

Джо чувствовал себя вполне непринужденно, – видно, он был способен беседовать таким же развязным тоном и со следователем или даже с судьей.

– Не говоря уже о том, что они больше трепались, чем делали... Хотите знать мое мнение? Так вот: все эти гангстеры из кинокартин им голову вскружили. Поэтому-то они и держались так нахально, как будто и впрямь блатные. Но если вы думаете, что я хоть столечко в этом замешан, то ошибаетесь... Ну что, разве я не прав?

Джо заговорил полным голосом, очевидно обращаясь к двум своим дамам:

– А что я вам всем говорил?... Сколько раз предупреждал, что рано или поздно у меня из-за них будут неприятности. Когда они слишком напивались, я отказывался им подавать... В тот вечер, когда они привели с собой мальчишку-новичка, Эмиля, и когда он умолял меня, чтобы я дал ему денег под залог его часов, я двадцать франков ему дал, а от часов отказался... Оно и понятно, в мои-то годы...

Должно быть, содержателя «Боксинг-бара» заинтриговал Лурса, который так не походил на тот образ, какой Джо себе составил. Интересно, что тут нарасказывали о нем мальчишки? Должно быть, изобразили его безнадежным пьяницей и скотиной!

Джо улыбнулся чуть ли не фамильярно:

– Но больше всего меня удивило, что вы ничего не слышали... Иногда они торчали у вас в доме до пяти часов утра... Так что я начал уже подумывать...

– Что вы выпьете?

Джо подмигнул. Еще немного, и он бы дружески толкнул Лурса локтем в бок, и тот ничуть бы не рассердился, напротив!

– Пожалуй, стаканчик мятной... Уважаете мятную?

Проходя мимо девиц, Джо им подмигнул. Одна девица тут же поднялась, одернула юбку и тем же движением поправила под юбкой штанишки, которые, очевидно, были ей узки и впились в ляжки.

– Пойду пройдуся, – заявила она.

Через несколько минут Лурса и боксер остались вдвоем в баре, где стояла клейкая, как сироп, тишина.

– Хотите знать мое мнение? Мне ведь виднее, чем многим другим. Не то чтобы они мне исповедовались, потому что я не любитель... Но собирались здесь почти каждый вечер... Я слышал их разговоры, хотя виду не показывал. Так вот, к примеру, ваша барышня и месье Эдмон, я пари готов держать – между ними ничего не было... Даже больше скажу: уверен, что месье Эдмон женским полом вообще не интересуется... Меня в таких делах не проведешь... Он слабосильный... И поклясться готов, из робких... А робкие – они отчаянные... Ну а мальчишка...

Мальчишка – это, конечно, Эмиль Маню, и Лурса понравилось, что боксер говорит о нем с симпатией.

– Уже в первый вечер я хотел посоветовать ему уйти. А также и еще одному, они называли его Люска, он с утра до вечера торчит на улице, торгует с лотка от «Магазина стандартных цен». Вы меня поймите хорошенько... Месье Эдмон и тот тип, который время от времени сюда заглядывал, вот только имя его забыл, словом, сын одного промышленника, – они могут себе позволить валяться в постели, вставать хоть в полдень... А потом, если и случится худое, родители тут как тут... Но когда приходит мальчишка не бог весть какой раскормленный, да и дома, видать, у них с деньгами негусто... Такие-то и стараются не отстать и даже перегнать прочих... Этот Эмиль, он никогда, видать, и вина-то не пил, по лицу было заметно... На следующий день они сюда не явились, но через два дня месье Эдмон мне рассказал, что они сшибли

какого-то человека и он лежит у вас в доме... Хотите верьте, хотите нет, но я им сразу заявил, пусть идут в полицию...

Минутами Лурса приходилось делать усилия, чтобы убедить себя, что это он сидит здесь, слушает рассказ Джо, что ему хочется слушать еще и еще, даже задавать вопросы.

– А Большого Луи вы знали?

– Нет. Но я о нем слыхал. И сразу все понял. Тип, надо сказать, не особенно приятный, под стать всем деревенским бродягам. Словом, такие, как он, способны удушить девчонку, если она попадется им одна в лесу, или пришибить старика из-за какой-нибудь сотни франков... Да вы такие вещи лучше меня знаете, ведь вы адвокат. Зря они сдрейфили, лучше бросили бы его на обочине... А когда его поместили у вас, в порядочном доме, когда он увидел, что все эти юнцы с ума от страха сходят, а ваша дочка за ним ухаживает, как сиделка, ну, конечно, он решил этим воспользоваться!.. Еще бы, прямо на золотую жилу напал! И чего только он от них не требовал...

Свойским жестом он протянул Лурса сигарету, поднес зажигалку.

– Единственное, что я могу вам сказать, что у всех у них было тяжело на душе. Они уже не дурачились, как раньше... Иногда шушукались между собой, а стоило мне подойти, сразу замолкали... Только ведь это не мое дело. Разве не так? А вот насчет того, как они рассчитывали от него отделаться... потому что нельзя же в самом деле держать покойника в вашем доме... По-моему, они собирались оттащить его к реке... Да что там! Лучше будет, если я вам все скажу. Так вот, немного за полдень месье Эдмон заглянул после лекции ко мне. Он и всегда-то бледный, а в тот раз был просто зеленый, а глаза ввалились, как у роженицы. Я даже засомневался, давать ли ему вина или нет. «Тут один дурака сваял, – говорит он мне. – А эти кретины все принимают всерьез». Я надеялся, что он еще что-нибудь сообщит, и уставился на него. Но, видно, он здорово торопился. «Неприятностей не оберешься. – Это он уже с порога сказал и даже вздохнул. – Особенно при такой матушке, как моя...»

Карла, говоря о Маню, ласково называла его «месье Эмиль». Джо Боксер, говоря о Доссене, называл его «месье Эдмон», потому что тот был сыном богача, владельца завода сельскохозяйственных машин, а возможно, также считал его главарем, ведь Эдмон всегда платил за всю компанию.

Лурса вникал в слова Джо, как в текст книги. Он копался в них, жадно выискивая мельчайшие крупинки правды.

Видно, Джо уже успел привыкнуть к своему клиенту, к его мохнатой большой голове, к его водянистым глазам, потому что, поднявшись, предложил на сей раз по собственному почину:

– Разрешите повторить?

Он подал грок и снова без церемонии уселся рядом с Лурса.

– Нынче днем я все время ждал, когда вы придете меня порасспросить. А потом решил: раз тут замешаны молодые люди из лучших семей, дело замнут... Однако говорят, что месье Эдмона вызывали в суд.

– А кто вам сказал?

– Сказал тот, что из банка... Как же его звать? Ах да, Детриво... Вот уж чего я не могу взять в толк, почему он с ними связался... Вы его знаете?

– Нет.

– Высокий такой, тощий... Правда, в их годы все худые, один только колбасник жирный. Но этот банковский хоть и тощий, но на них не похож – в очках, волосы на проборе, и уж до того чинный, до того стеснительный, прямо на нервы действует... Говорят, что его папаша тридцать лет кассиром работает в том же банке... Можете себе представить, какой у них начнется тарарам! Он и так совсем голову потерял...

– Кто, отец?

– Нет, сын... Примчался сюда на велосипеде сразу же, как кончил работу. Думаю, что он получил записочку...

Записочку от Николь, черт побери! Никого не забыла, пришлось их Карле побегать по городу!

– ...Он боялся возвращаться домой. Спросил меня вроде бы и не про себя, насчет парижской полиции, скоро ли она обнаружит в случае надобности человека... Я ему посоветовал не удирать, сказал, что через несколько месяцев все равно найдут...

Возможно, боксер вдруг почувствовал смутную тревогу, уж слишком невозмутимо спокоен был Лурса.

– Скажите, вы сами этим делом займетесь? Говорят, когда вы выступаете в суде, дело почти наверняка выиграно, только выступаете вы нечасто. Во всяком случае, если я понадобится вам как свидетель... Конечно, у меня, как и у всех нас, грешных, были в прежние годы неприятности с полицией, но со времени последней амнистии я перед законом чист как стеклышко... Они и заикнуться об этом не имеют права.

Лурса не мог заставить себя встать и уйти. Он злился, что сидит здесь, слушает, и в то же время весь внутренне дрожал от возбуждения, как ребенок, которому рассказывают захватывающую сказку, и, как бы ни была она длинна, ему все мало.

– А что такое их «Харчевня утопленников»? – спросил он, подавляя в себе желание заказать четвертый стакан грога.

Глаза у него уже пощипывало. Ему было жарко. Не следовало бы нынче вечером пить лишнего.

– Откровенно говоря, ничего особенного. Просто они выдумывали невесть что. К примеру, если они встречали у меня какого-нибудь незнакомого парня, они тут же сочиняли, будто это опасный рецидивист... А то уверяли, что за ними следит полиция, и посылали меня поглядеть, нет ли кого на улице. Думаю даже, что все они накупили себе револьверов, только не посмели пустить их в ход.

– Однако один все-таки осмелился и пустил в ход! – прервал его Лурса.

И где?! У него в доме! Под его кровом! И никто в их городе Мулэне, а он еще меньше, чем прочие, не подозревал, что существует группа молодежи, живущая своей особой, отличной от других жизнью.

Эдмон был ласков со своей мамочкой, ласков, как девчонка, об этом постоянно твердила Марта, ставя сына в пример... А вечером...

– Сколько я вам должен?

– Шестнадцать франков... Я посчитал вам, так сказать, как другу, как им... А по-вашему, тот, кто стрелял... сойдет это ему с рук, то есть найдут смягчающие?

Джо говорил со знанием дела, только старался избегать кое-каких слов, видно, был стреляный воробей.

– В последнее время здорово придираются... В Руане казнили парня, а ему и девятнадцати не было...

На углу улицы Лурса натолкнулся на одну из тех двух девиц; раскрыв зонтик, она прогуливалась взад и вперед по тротуару, ковыляя на высоких каблуках, и, заметив адвоката, фамильярно бросила: «Покойной ночи!»

Он взбунтовался, не пожелал возвращаться домой, в свою конуру, где увяз, как в болоте, на целых восемнадцать лет. И сделал нечто совершенно неожиданное. Очутившись на площади Алье и увидев проезжавшее мимо пустое такси, он окликнул шофера:

– Знаете кабачок, который называется «Харчевня утопленников»?

– Это не со стороны старого почтамта?

– По-моему, да.

– Значит, вас туда везти?

Шофер, с виду добродетельный отец семейства, испытующе оглядел клиента и наконец соизволил открыть дверцу.

– Туда и обратно получится шестьдесят франков.

Сколько же времени он не пользовался такси, особенно ночью? Вряд ли он даже помнил своеобразный запах ночных улиц, пригороды, новый квартал за кладбищем, где жил Эмиль Маню со своей матерью.

– Что-то горит! – проговорил шофер, оглянувшись.

Тлел окурок, который Лурса кинул на коврик и плохо притоптал каблуком.

– А знаете, боюсь, что там уже все улеглись...

Лурса попала в частная машина давнишнего выпуска, где водитель не отделен от пассажира. Чувствовалось, что шофер не прочь поболтать. «Дворники» с противным скрипом ползали по ветровому стеклу. Время от времени их ослеплял свет фар встречных машин.

– Подождите-ка, кажется, поворот здесь... Признаться, нечасто сюда приходится ездить...

В конце разбитой дороги, метрах в двухстах от фермы с выбеленными известью стенами, они заметили поблескивавшую ленту реки, низкий болотистый берег и трехэтажный дом, откуда падал свет.

– Вы там долго задержитесь?

– Не думаю.

Он прочел все на свете, все переварил, все передумал, старался день за днем, год за годом решить все вопросы, которые ставит перед собой человечество, и не умел сделать того, что умеет любой, – войти в кабачок, сесть за стол.

Откровенно говоря, он даже не подозревал, что существуют подобные места, и продвигался поэтому как-то боком, подозрительно оглядываясь вокруг.

Однако пресловутый кабачок оказался обыкновенным кафе, много опрятнее, чем обычные пригородные заведения, со своими выкрашенными масляной краской стенами, с многоцветными рекламными и со стойкой из лакированной сосны.

Кабачок, неизвестно почему, производил впечатление скорее частного дома, хотя тут, как и полагается, стояли в ряд столики, а на полках красовались бутылки. Здесь было как-то чересчур мирно, даже интимно, словно на кухне у хозяев средней руки. Окна были плотно прикрыты занавесками кремового цвета.

За одним из столиков сидел посетитель, мужчина средних лет, и Лурса принял его за торговца зерном или птицей. Впрочем, еще у входа он заметил грузовичок с потушенными фарами.

Рядом с торговцем сидела молоденькая девушка, и, когда адвокат открыл дверь, ему почудилось, будто торговец быстро отдернул руку от зада девицы.

Теперь они вдвоем уставились на Лурса и ждали, заинтригованные или раздосадованные. А он уселся за столик, снова отряхнул свое тяжелое намокшее пальто.

– Что прикажете? – спросила, подходя к нему, девушка.

– Грога.

– Очаг уже потушили, а газа у нас нет. Может, возьмете стаканчик рома?

Она открыла крашеную дверь и крикнула, закинув голову к площадке лестницы:

– Мама! Ева!..

Потом вернулась к своему кавалеру, положила локти на стол и улыбнулась ему со всей любезностью, на какую только способен человек, падающий с ног от желания спать.

– Ну, что же вы ему ответили? – полушепотом спросила она, по-видимому продолжая прерванный разговор.

Дверь, ведущая внутрь заведения, так и осталась открытой. А там, в темноте, Лурса разглядел смотревшую на него женщину, очень худую, лет сорока; верно, она уже собиралась ложиться, так как в волосах у нее торчали бигуди.

Их взгляды встретились, и женщина отступила в темноту, исчезла, очевидно, поднялась на второй этаж, где сразу же затопали над головой Лурса по крайней мере две пары ног. Только минут через пять появилась Ева, до того похожая на сидевшую за столиком девушку, что Лурса сразу догадался, что это сестры, и, когда она подошла к нему, его обдало приторным запахом только что поднявшейся с постели женщины.

– Что вы заказали?

– Ром, – бросил Лурса.

– Стакан или рюмку?

Он заказал стакан. Все здесь вызывало его любопытство. Ему ничего не хотелось упустить. Он пытался представить себе компанию молодых людей и Николь... Эмиля Маню, который в тот вечер приехал с ними сюда в первый раз и напился...

За Лурса наблюдали. Старались угадать, зачем он явился. Ева подала ему ром, но присест рядом не посмела. С минуту она постояла у столика, потом отошла к стойке, а торговец птицей тем временем вытащил из кармана кошелек:

– Сколько я вам должен?

– Уже уходите?

Торговец молча указал глазами на Лурса, как бы желая сказать: «А стоит, по-вашему, оставаться?»

Она ласково улыбнулась, проводила его до дверей, даже вышла на крыльцо, где, должно быть, быстро клюнула своего кавалера в щеку, позволила себя обнять.

Когда она вернулась в зал, с нее уже слетело прежнее оживление, но она все же попыталась из последних сил быть любезной и даже кинула в сторону Лурса:

– Ну и погодка!

Потом спросила:

– Вы не здешний? Вы коммивояжер?

Сестры были не уродливые, скорее даже миловидные, но уж очень бесцветные.

– До чего пить хочется, Ева! Не закажете ли мне, месье, лимонаду?

Лурса определенно казалось, что время от времени мамаша этих барышень заглядывает из темноты в полуоткрытую дверь, поэтому он сконфузился, словно его поймали на месте преступления.

– За ваше здоровье! Может, вы и для Евы стаканчик закажете? Выпей чего-нибудь, Ева...

Кончилось тем, что обе сестры очутились за его столиком; он не знал, о чем с ними говорить, и таращил глаза. Девушки обменивались понимающими, весьма красноречивыми взглядами. А он, видя это, догадался, чего от него ждут, и окончательно смутился.

– Сколько с меня?

– Девять франков пятьдесят... У вас мелочи нет?... Вы на машине приехали?

Шофер, сидя за рулем, поджидал его и сразу тронул машину.

– Ну как, видно, не вышло?... Я вас предупреждал, но поди знай... Кто хочет выпить и похотать или девчонок немного пощупать, это еще можно... А вот насчет всего прочего...

Тут только Лурса отдал себе отчет, что к его смущению примешивается чувство известной гордости: как-никак, его сочли человеком, который едет за несколько километров в пригород, едет в специальное заведение, чтобы пощупать девочек.

Он сам бы не мог объяснить, почему к этому мимолетному ощущению гордости примешалось вдруг воспоминание о его сестре Марте. Он увидел, как она стоит в своем блекло-зеленом одеянии, а он бьет ее по щеке. Ему хотелось, чтобы она сейчас на него посмотрела...

– А много туда народу ездит? – спросил он и нагнулся, чтобы расслышать ответ шофера.

– Ездят больше завсегдатаи, которые воображают, что в один прекрасный день им удастся... Ездят молодые люди целыми компаниями. Этим хочется пошуметь, и в городе, в тамошних кафе, они не смеют...

В новом квартале, где были проложены еще не все улицы и где жил Эмиль Маню, уже потухли огни. А в «Боксинг-баре» за спущенными занавесками можно было разглядеть два темных силуэта.

– Куда везти?

– Да не важно куда... Высадите хотя бы здесь, на углу...

Как гуляка, который вопреки здравому смыслу желает затянуть уже окончившийся праздник, Лурса старался продлить сегодняшний вечер, он шел, изредка останавливаясь и вслушиваясь в шум отдаленных шагов.

На их улице стояли большие дома, похожие на его собственный особняк, и он ненавидел эти дома, как ненавидел тех, кто живет в них, как ненавидел собственную сестру, Доссена, Рожиссара и его супругу, Дюкупа и помощника прокурора – всех этих людей, которые не сделали ему ничего плохого, но которые находились по ту сторону баррикады, где, в сущности, было и его место, там, где он находился бы сейчас, если бы жена его не сбежала с неким Бернаром, если бы он восемнадцать лет не просидел сиднем в своем кабинете, если бы случайно не открыл кишение жизни, о чем он и не подозревал, не обнаружил жизни, существовавшей отдельно от той официальной, показной жизни города, не разглядел бы наконец совсем иные существа, о чем он тоже не подозревал; в частности, собственную дочь Николь, не испугавшуюся следователя и разославшую записочки по всему городу, Джо Боксера, поставившего ему угощение, Эмиля Маню, который то хорохорился, то рыдал – всех, включая этого хилого Эдмона Доссена, наделавшего хлопот своему хлыщу-папаше и своей утонченной мамочке; вплоть до банковского служащего, сына образцового кассира, которого он еще не видел и который – вот кретин! – решил скрыться в Париже, и этого Люска, торгующего на улице от «Магазина стандартных цен»...

Тут только он обнаружил, что забыл ключ от входной двери. Он позвонил, хотя отлично знал, что Карла побоится пойти отворить, и Николь, верно, спит сном праведницы.

На всякий случай он свернул в тупик и, обнаружив, что черный ход, как и всегда, не заперт, вошел в дом.

Вошел с таким ощущением, будто он сам отчасти принадлежит к их шайке.

VI

Все было как в сказке: лежа в постели со спутанной бородой, которая подрагивала от мощного храпа, как пырей на ветру, он, очевидно, казался огромным, огромным и злым, настоящий Злой Людоед.

А она, Карла, вошедшая на цыпочках в кабинет, разглядывавшая с порога хозяина, была Фея-хлопотунья, которая обегала весь город, лишь бы спасти свою любимицу Принцессу, разнося записки на улицу Алье, к Люска, к Детриво, к Доссену, Фея, суровая ко всем людям, но на редкость добрая к той, кому отдала свою жизнь.

Лурса невольно улыбнулся. Эта мысль пришла ему в голову как раз в ту минуту, когда Fiна ковыляла к его постели, с любопытством поглядывая на хозяина. Как знать? Когда он лежал по утрам вот так, вяло вытянувшись во весь рост, в сущности совсем беззащитный, возможно, ее не раз подмывало отомстить ему иным способом, а не просто корчить по его адресу гримасы?

Опять шел дождь, он понял это сразу. К тому же с вечера он забыл закрыть ставни в кабинете.

– Что это, Fiна?

- Письмо.
- И вы решили разбудить меня ради письма?
- Его жандарм принес и сказал – срочное.

Он отметил про себя, что у Фины усталый, угрюмый вид, что вся она какая-то пришибленная. Сейчас ей было не до их ежеутренних мелких перепалок, она явно ждала, когда он распечатает конверт.

- Что-нибудь плохое? – спросила она.
- Прокурор просит меня зайти сегодня утром в суд.

Вот, должно быть, удивилась Карла, увидев, что он, пренебрегши ритуалом утреннего вставания, сразу же вскочил с постели и быстро оделся.

- Мадемуазель встала? – спросил он, застегивая брюки.
- Она уже давно ушла.
- Сколько сейчас времени?
- Около одиннадцати. А мадемуазель ушла, когда еще десяти не было.
- Вы не знаете, куда она пошла?

Сейчас оба с молчаливого уговора как бы заключили перемирие. Фина ответила не сразу, она подозрительно оглядела Лурса, но, очевидно, решила, что лучше сказать правду.

- За ней приходила мать месье Эмиля.
- Мать Эмиля Маню?

И Фина ответила жестко, так, словно в этом был виноват Лурса:

- Его сегодня утром арестовали.

Итак, пока он лежал в постели, потел, дрых, как огромный мохнатый зверь... Лурса видел в окне тускло-зеленое небо, мокрую пустынную улицу, молочницу с мешком на голове, пересекавшую мостовую, зонтик, завернувший за угол, и каменные стены домов в расплывчатых пятнах сырости.

Стояло глухое, грустное время года, пожалуй, еще более грустное, чем белесый зимний холод, и было ветрено, как в День Всех Святых. Он представил себе новый квартал у кладбища, новые длинные улицы. Как же называется их улица? Ах да, улица Эрнест-Вуавенон! И названа она не в честь какой-нибудь местной знаменитости, а просто по имени владельца этого участка.

И живут там люди, которые, пока он лежит в постели, сморенный сном, поднимаются на рассвете, выходят навстречу этой сырости и едут на работу в город, по большей части на велосипеде.

Как и когда за ним пришла полиция? Безусловно, раньше восьми часов, чтобы схватить Эмиля Маню, пока он не уехал в книжный магазин. Должно быть, на углу стоял полицейский, и соседи поглядывали на него, приподняв занавески.

А госпожа Маню тем временем готовила завтрак, Эмиль одевался...

Как бы желая добить хозяина, Карла, глядя куда-то в сторону, бросила ему самый тяжелый упрек:

- Он пытался себя убить...
- Что? Хотел покончить жизнь самоубийством? Чем?
- Револьвером.
- Он ранен?
- Да не вышло у него... Осечка... Когда он услышал, что полицейские говорят с его матерью в коридоре, он побежал на чердак и там...

Стены в их коридоре, конечно, выкрашены под мрамор, Лурса был в этом уверен, перед каждой дверью половичок, а эти скоты из полиции, которые всегда кажутся почему-то слишком громоздкими, непременно оставляют на паркете следы своих мокрых сапожищ.

Фина начала оправлять постель. Лурса снял с вешалки свое не просохшее после вчерашней ночи пальто, взял котелок. На дворе стоял пронизывающий холод, как в пещере, и иной

раз среди множества совершенно одинаковых капель, барабанивших по крышам домов, попадались какие-то особенно крупные и злые.

Итак, первой мыслью госпожи Маню было пойти за Николь. Чтобы ее упрекать? Конечно нет! И тем не менее в глубине души она, мать этого мальчика и к тому же стоящая на общественной лестнице бесконечно ниже, чем Лурса, она, госпожа Маню, не может не считать Николь ответственной за эту катастрофу.

Как, должно быть, стыдно было ей идти по своей улице, по своему кварталу! Она шла и плакала, говорила сама с собой вслух! Умоляла Николь вмешаться.

И обратно они шли вдвоем. Шли защищать Эмиля, оставив его, спящего Людоеда, под охраной Карлы.

Тут только Лурса понял смысл письма, полученного от прокурора, письма, которое не было, в сущности, официальной повесткой:

*Дорогой друг,
мне сообщили, что вас невозможно поймать по телефону. Не
соблаговолите ли вы срочно зайти в прокуратуру?
Жду вас.*

Письмо было подписано Рожиссаром, и Лурса отметил, что прокурор постарался написать письмо как можно суше.

Адвокат вовсе не собирался хорохориться. И не думал о том, как должен себя вести. Однако, когда он проходил через приемную, где толпились посетители и его коллеги адвокаты в мантиях, он против собственной воли зашагал с таким видом, с каким идет человек, которого ждут враги и который решил ввязаться в бой. Ссутулившись, засунув руки в карманы, он, тяжело ступая, стал подниматься по лестнице.

Не доходя до лестничной площадки, он заметил двух женщин, которые сидели на скамейке, прислонившись к выкрашенной в неопределенно-зеленый цвет стене; так как он поднимался, ему сначала бросился в глаза подол черной юбки и ботинки на пуговицах, принадлежавшие госпоже Маню, матери Эмиля; она держала в руке носовой платочек, а ее соседка, которой могла быть только Николь, сжимала эту руку с платочком не столько нежным, сколько машинальным жестом.

Госпожа Маню не плакала, но, видно, уже наплакалась вволю, и в глазах ее застыло растерянное выражение. Тут же ждал своей очереди какой-то старичок, а на соседней скамейке между жандармами сидел бродяга.

Лурса поднялся на самый верх, прошел мимо двух женщин, даже не оглянувшись на них, без стука открыл дверь прокурорского кабинета.

Он удачно избежал сцены в коридоре, и то уж слава богу! В полутемном кабинете находились двое – на фоне окна видны были два темных силуэта, и оба обернулись одновременно, как по команде.

– Наконец-то! – не удержался Рожиссар, направляясь к письменному столу и подвигая себе стул.

Вторым оказался Дюкуп, какой-то особенно крысopodobный, и Лурса заметил, что оба с умыслом стараются держаться подальше от него, иначе им пришлось бы подавать ему руку.

– Садитесь, Гектор. Держу пари, что я вас разбудил.

При всем желании Рожиссар не мог обращаться к Лурса иначе, как по имени, коль скоро они состоят в родстве и даже росли вместе. Зато он отыгрался за это послабление, подпустив шпильку в конце фразы. С той же целью он принял важный вид и с преувеличенным вниманием стал копаться в бумагах, словно перед ним находился обычный преступник, которого следует поначалу хорошенько запугать.

А Дюкуп остался стоять в позе постороннего зрителя, которому известен весь ход спектакля и который заранее предвкушает удовольствие.

– Я очень огорчен тем, что произошло... Даже больше чем огорчен... Я не желаю от вас ничего скрывать и прошу вас не разглашать того, что я вам сейчас скажу: вчера вечером я позвонил в министерство и попросил у них совета, заметьте, впервые за все годы моей работы!

Весь этот город, все эти крыши, которые сечет дождь, мокрые следы на полу в кулуарах суда, две женщины на скамейке... А Эмиль? Ясно, в каком-нибудь мерзком закутке этой твердыни правосудия он ждет допроса в обществе полицейского.

– Разумеется, я вызвал вас неофициально. Мы с Дюкупом считаем необходимым с вами проконсультироваться или хотя бы держать вас в курсе дела. Так вот, вчера Дюкуп долго допрашивал сына Доссена, и я сам присутствовал на допросе, вернее, на части допроса. Вы его знаете, ведь он ваш племянник... Признаюсь, мне от души жаль беднягу... Я не раз с ним встречался у них в доме на обедах... Он производил на меня впечатление хрупкого, болезненного юноши, удивительно нежного, даже руки и глаза у него девичьи... В кабинете Дюкупа, который, надо сказать, вел допрос весьма деликатно, ваш племянник проявил прямо-таки болезненную чувствительность, так разнервничался, что я уже думал было вызвать врача. Сначала он долго не сдавался, а потом заговорил...

Реакция Лурса на это сообщение была столь неожиданна, во всяком случае неожиданна для обоих его собеседников, что они удивленно на него взглянули и умолкли: адвокат поднялся, снял пальто, повесил его в знакомый стеной шкаф, вынул из кармана пачку сигарет, снова сел на стул и, положив себе на колени записную книжку, тряхнул правой рукой с зажатым в ней карандашом, чтобы грифель встал на место.

– Разрешите?

Те двое обменялись тревожным взглядом, не зная, как объяснить такое поведение, скрыта ли в нем угроза.

– Полагаю, вы сами понимаете: то, что я вам сообщаю, станет известно через несколько часов всему городу, ибо невозможно замять дело, раз помимо всего прочего совершено убийство. Министерство придерживается моего мнения: во всей этой драме Эдмон Доссен лишь статист и, если хотите, в известной мере жертва. Я его понимаю, особенно теперь, когда я имел случай убедиться в его необыкновенной впечатлительности. Так вот, несколько молодых людей из хороших семей, и не только из хороших, посещали маленький бар возле рынка; и в числе прочих сын колбасника, сын одного...

– Знаю! – прервал прокурора Лурса.

– В таком случае вы, очевидно, знаете также, что ваша дочь являлась как бы центром этой группы, а ваш дом был их штаб-квартирой. Я в отчаянии, и не только из-за вас, но и из-за всех нас, так как скандал отзовется на всем высшем обществе Мулэна. Согласитесь, что в суде будет достаточно трудно убедить наших милейших присяжных, будто эта шайка молодежи могла собираться ночами в доме, танцевала там под патефон и напивалась, а хозяин дома...

Дюкуп, видимо взявший на себя роль публики, одобрительно закивал.

– Все это не зашло бы столь далеко, если бы три недели назад в их группу не попал новичок, некто Маню, который в первый же вечер предложил угнать машину – если вам угодно, одолжить ее на время у владельца, – дабы вся компания могла продолжать веселиться в некоем пригородном кабачке... Замечу, кстати, что Эдмон Доссен вел себя во всей этой истории самым достойным образом; надеюсь, вам известно, что именно он взял на себя неблагоприятную роль позвонить доктору Матре и потребовал от него сохранения профессиональной тайны...

Самое любопытное было во время рассказа прокурора обнаруживать в памяти полузабытые воспоминания детства, особое выражение лица, манеры Марты. Лурса померещилось, что он и сейчас слышит ее голос в ответ на родительский вопрос, кто из них двоих нашкодил: «Гектор!»

А так как уже тогда Марта была болезненной и такой же нервной, как теперь ее сынок, родители не осмеливались ей перечить. Однако это не мешало ей бросать на брата торжествующий взгляд, в котором ясно читалось: «Опять я их провела! А ты влип!»

Рожиссар Жердь с приличествующей в подобных обстоятельствах миной продолжал:

– Я вынужден был заняться одной из сторон вопроса, который неизбежно станет публичным достоянием. Другими словами, я пытался установить, каковы были на самом деле отношения между Доссеном и Николь... И уверен, что Эдмон не солгал и что между ними ничего не было... Просто они развлекались, разыгрывая перед друзьями и незнакомыми людьми комедию близости, делали вид, что они любовники; но это была только игра. Простите, что я касаюсь таких вещей. Но не думаю, что так же было и с вышеназванным Маню... Присутствие раненого в вашем доме стало превосходным поводом для ежевечерних встреч... И я имею все основания полагать, что раненый дурно влиял на молодого человека... Словом, у меня сложилось вполне определенное мнение... Надеюсь, вы признаёте за мной наличие известного опыта в вопросах криминалистики. Маню принадлежит к разновидности экзальтированных юнцов, которых при желании можно превратить или в святых, или в каторжников, поскольку у них нет ничего за душой и они с величайшей легкостью воспринимают чужие импульсы... Все прочие забавлялись более или менее невинно, а он внес в эту игру достаточно опасную струю реального действия... Конечно, Доссен не мог сформулировать это так же четко, но таков подтекст его признаний... С появлением Маню сборища приняли совсем новый характер, и члены группы замыслили даже вылазки, целью которых был настоящий грабеж... Допустим, что главная вина падает на Большого Луи, о котором продолжают поступать самые неприятные сведения... В связи с этим вам небезынтересно будет узнать, что в течение двух недель, которые Большой Луи провел под вашим кровом, он отправил несколько почтовых переводов общей суммой на две тысячи шестьсот франков в деревню некоей девице, от которой имеет троих детей и которая проживает где-то в Нормандии... Копии этих переводов обнаружены... Я поручил тамошнему прокурору произвести проверку в Онфлэре и допросить эту женщину; в случае надобности я дам распоряжение доставить ее сюда. Все это – увы! – приводит нас к тому, что в моих глазах является бесспорной истиной, и Дюкуп, которому я благодарен за проявленные им во время следствия такт и беспристрастность...

Лурса кашлянул. Только кашлянул, и больше ничего, и рассеянно продолжал штриховать рисунок, который набросал в своей записной книжке.

– ...Этот Маню, попав под влияние Большого Луи и действуя по его указке, вынужден был совершать нечистоплотные поступки, ибо, по словам Доссена, эти две тысячи шестьсот франков могли быть добыты только им, Маню... Испугался ли Маню в конце концов? Или Большой Луи стал предъявлять непомерные требования?.. Так или иначе, он решил его убрать...

И добавил торжественным тоном, так, словно Лурса не был в курсе дела:

– Я велел арестовать Маню сегодня утром. Сейчас он здесь. Через несколько минут я рассчитываю начать допрос...

Рожиссар поднялся, подошел к окну и выглянул на улицу.

– Самое огорчительное во всем этом деле то, что ваша дочь сочла своим долгом сразу же примчаться сюда вместе с матерью этого юноши. Сейчас обе они сидят в коридоре... Впрочем, вы сами их, должно быть, видели... Дюкуп попытался вмешаться, попросил, разумеется неофициально, вашу дочь не афишировать себя до такой степени, но ответа не получил... В данных обстоятельствах, если мне предложат выступить в роли обвинителя, трудно будет объяснить...

Лурса поднял голову.

– Почему вы не арестовали мою дочь? – отчеканил он удивительно безмятежным тоном.

– Ну, пока до этого еще не дошло. Тем не менее я велел вас вызвать. Хотел поговорить с вами, сразу ввести в курс дела. Ваше положение в городе несколько особое. Вас уважают, ибо каждый знает, до какой степени пагубно отразились на вас известные несчастные события... Вам прощают ваши странности и...

При этих словах Лурса вдруг вспомнил, что ничего еще не пил утром.

– ...Впрочем, нет нужды уточнять... Конечно, было бы значительно лучше, если бы Николь получила другое воспитание, если бы за ней приглядывали, как за всеми девушками... и...

Лурса снова кашлянул. Те двое переглянулись почти тревожно. Конечно, они ждали иного: что им придется иметь дело или с униженным, разбитым человеком, который будет их умолять, или с разбушевавшимся пьяницей, которого без труда можно осадить.

– У вас есть доказательства против Эмиля Маню?

– Во всяком случае, достаточно сильные подозрения. В ночь убийства он был в вашем доме. Ваша дочь в этом призналась. Она чуть ли не хвасталась тем, что большую часть вечера он провел в ее спальне...

Раз этого Лурса ничем не проймешь, будем говорить начистоту.

– Поняли наконец, в чем дело?

– Мне очень хотелось бы присутствовать при допросе Эмиля Маню.

– Вы намерены защищать его в суде?

– Еще не знаю.

– Послушайте, Гектор...

Прокурор сделал знак Дюкупу, и тот вышел из комнаты с самым независимым видом, затем прокурор приблизился к Лурса и заговорил вполголоса:

– Мы с вами родственники... Моя жена ужасно удручена всей этой историей... Ваша сестра Марта звонила мне сегодня утром... Эдмон слег... Его положение внушает самую серьезную тревогу, так как он находится в состоянии сильнейшей нервной депрессии. Шарль вернулся из Парижа нынче утром и тоже мне звонил... Излишне говорить, что он без злобы не может слышать вашего имени... Утром все чуть было не уладилось... Когда полиция пришла за Маню, он улизнул на чердак и попытался покончить с собой... Или револьвер отказал, или, находясь в лихорадочном состоянии, Маню забыл спустить предохранитель... А может быть, решил разыграть комедию, что тоже не исключено... Так или иначе, если бы произошел несчастный случай, нам легче было бы замять дело... То, что он виноват в убийстве, не подлежит никакому сомнению, тем более что попытка самоубийства выдала его с головой... Но давайте предположим на минуту, что, желая отомстить, он втянет в это дело вашу дочь, Эдмона и всех их друзей... Согласитесь, что весь город, ваши родные и друзья достаточно долго уважали ваше желание жить в одиночестве и молчали о ваших маниях, пристрастиях и чудачествах... Теперь создалось серьезное, я бы сказал, даже трагическое положение...

Лурса, закулив сигарету, сказал:

– Нельзя ли ввести Маню?

Однако он был взволнован. Но совсем не так, как им хотелось. Лурса волновался, как мальчик на первом любовном свидании; и знай те двое об этом, они задохлись бы от злости.

Он ждал Маню! Ему не терпелось увидеть его вновь! Он завидовал Карле, которая накануне бегала по всему городу, разнося записки от Николь! Завидовал своей дочери, сидевшей на скамейке в суде в обществе жандармов и воров, рядом с плачущей матерью; завидовал дочери, которая невозмутимо бросала вызов всем тем, кто нарочно шнырял взад и вперед, глядя на нее с жалостью и любопытством.

С ним произошло нечто удивительное, неожиданное, настоящее потрясение! Он вылез из своей берлоги! Вышел в город, на улицу!

Он вдруг увидел Николь за обедом, Николь, которая за неимением горничной сама поднималась и принимала блюда у подъемника, ставила их на стол, не проронив ни слова.

Он видел Маню... Слышал Джо Боксера... Он посетил эту подозрительную харчевню с двумя девицами, за которыми из-за приоткрытой двери следит их матушка в халате...

Ему захотелось...

Было чудовишно трудно не только произнести это вслух, но даже сформулировать свою мысль про себя, тем более что все это было для него непривычно и он боялся смешных положений.

Он не осмелился докончить: «захотелось жить». Может быть, лучше сказать: «захотелось драться»? Это, пожалуй, точнее. Встряхнуться, стряхнуть солому, приставшую в логове, подозрительные запахи, вьевшиеся в кожу, всю непереносимую прогорклость своего я, которое слишком долго томилось между четырех стен, уставленных книгами...

И броситься вперед...

Сказать Николь, сев за стол против нее, сказать сейчас же, непринужденным, даже легкомысленным тоном: «Не бойся!»

И пусть она поймет, что он такой же, как они, что он с ними, а не с теми, другими, что он со своей дочерью, с Карлой, с Эмилем, с этой матерью, дающей уроки музыки.

Сегодня он еще не пил! Он отяжелел, зато чувствовал себя сильным, прекрасно владел собой.

Он поглядывал на дверь. Его сжигало нетерпение. Он ловил шумы, различал шаги полицейских в длинном коридоре, приглушенный крик госпожи Маню, ее рыдания; видимо, она пыталась броситься на шею сыну, но ее оттолкнули...

Наконец-то... В щелку двери просунулась жестко очерченная физиономия полицейского в штатском, который взглядом спросил прокурора и, получив столь же молчаливый ответ, по знаку Рожиссара ввел молодого человека...

Рожиссар, который каждый год отправлялся на поклонение святым местам в Лурд¹ и в Рим в блаженной надежде зачать ребенка, заговорил так, как полагается говорить прокурору:

– Господин следователь задаст вам несколько вопросов, но ваши ответы записываться не будут, так как этот допрос неофициальный. Можете поэтому говорить совершенно искренне, что я от души вам и советую...

Почему первым среди всех присутствующих мальчуган заметил именно Лурса? Именно Лурса искали его живые быстрые глаза с первой же минуты, когда его ввели в кабинет прокурора, где царил официальный полумрак.

И Лурса невольно отпрянул, смущенный и опечаленный. Да, опечаленный, ибо он сразу почувствовал, что Эмиль сердит на него, что именно его юноша считает ответственным за все случившееся. Даже, пожалуй, более того! Казалось, он говорит: «Я приходил к вам и чистосердечно признался во всем. Расплакался перед вами. Сказал все, что было у меня на сердце. И вас, вас я встречаю здесь. Это из-за вас меня арестовали, из-за вас, который...»

Эмилю не предложили стула. Роста он был среднего, брючина на правом колене была забрызгана грязью. Хотя он старался овладеть собою, руки его тряслись.

Лурса завидовал ему. Даже не так его восемнадцати годам, как его способности придти в такое полное отчаяние и, стоя здесь почти в полуобморочном состоянии, считать, что вся вселенная рухнула, зная, что мама плачет, Николь ждет и никогда не заподозрит его ни в чем дурном, что Карла приняла его, только его одного, в сердце свое, хотя, казалось бы, вся ее неистовая любовь уже давно отдана Николь.

¹ Лурд – французский городок в Пиренеях, где в 1858 году четырнадцатилетней местной жительнице Бернадетте Субиру явилась Дева Мария. С тех пор Лурд стал популярным местом паломничества.

Его любят! Любят безудержно! Любят безоговорочно! Пусть его мучат, пусть его осудят, пусть казнят, все равно три женщины всегда будут верить в него!

Что он сейчас чувствовал? Он, должно быть, весь напрягся, чтобы не повернуться к Лурса, чтобы глядеть прямо на Дюкупа, который сидел теперь за письменным столом, в то время как прокурор шагал по кабинету.

– Как вам уже сказал господин прокурор...

– Я не убивал Большого Луи!

Эти слова взорвались, как бомба, неудержимо и смятенно.

– Попрошу меня не прерывать... Как вам уже сказал господин прокурор, сейчас идет не официальный допрос, а скорее частная беседа...

– Я не убивал!

Он схватился рукой за край письменного стола: стол был красного дерева, обтянутый зеленой кожей. Возможно, ему отказали ноги. Только он один замечал этот письменный стол, это тусклое окно, куда заглядывал день, которого все они не видели, не желали видеть.

– Не хочу идти в тюрьму!.. Я...

Он повернулся всем телом к Лурса, и во взгляде его горело безумное желание броситься на адвоката и расцарапать ему физиономию.

– Это он, это он вам сказал...

– Успокойтесь! Прошу вас...

Прокурор положил руку на плечо Эмиля. А Лурса понурил голову, его жгло настоящее горе, какое-то смутное неопределенное чувство стыда за то, что он не сумел внушить доверие этому мальчугану.

Впрочем, и Николь тоже. И Карле. И уж разумеется, этой несчастной матери, мимо которой он только что прошел!

Он их враг!

– Это я попросил месье Лурса присутствовать при разговоре, учитывая особое положение, в каком он очутился. Убежден, что вы не отдадите себе в этом отчета. Вы молоды, импульсивны. Вы действовали безрассудно и, к несчастью...

– Значит, вы думаете, что это я убил Большого Луи?

Он задрожал всем телом, но не от страха, Лурса сразу об этом догадался, а от жестокой тоски, от сознания, что тебя не поймут посторонние, что ты один против всех, ты загнан, окружен, отдан на растерзание двум коварным чиновникам в присутствии какого-то Лурса, который сейчас казался юноше огромным злобным зверем, притаившимся в углу.

– Неправда! Я воровал, верно! Но и другие тоже воровали.

Он заплакал без слез, только лицо его исказила гримаса, с непостижимой быстротой сменявшаяся десятком других, так что на него больно было смотреть.

– Меня не имеют права арестовывать одного!.. Я не убивал!.. Слышите? Я не...

– Ш-ш! Тише, тише...

Прокурор испугался, что крики Эмиля услышат в коридоре, хотя дверь кабинета была обита войлоком.

– Меня увели из дома в наручниках, будто я...

Неожиданно для всех присутствующих Дюкуп ударил по столу разрезальным ножом и машинально прикрикнул:

– Молчать!

Было это до того неожиданно, что пораженный Маню замолчал и тупо уставился на следователя.

– Вы находитесь здесь, чтобы отвечать на наши вопросы, а не для того, чтобы разыгрывать непристойную комедию... Вынужден призвать вас к благоразумию...

Эмиль, нетвердо стоявший на своих по-мальчишески тонких ногах, пошатнулся, над его верхней губой и на висках заблестели капли пота. Шея его сзади напоминала цыплячью.

– Вы не отрицаете, что позаимствовали, – видите, как вежливо я с вами говорю, – чужую машину, чтобы отвезти своих друзей за город. Машина принадлежала помощнику мэра, и по вашей неопытности или потому, что вы находились в состоянии опьянения, произошел несчастный случай.

Насупив брови и хмурия лоб, который прочертили три складки, Эмиль вслушивался в слова следователя, но ничего не понимал. Слова доходили до него с трудом, были просто набором звуков, лишенных всякого смысла, даже слово «машина» не дошло до сознания. Фразы были слишком длинные, Дюкуп слишком спокоен, слишком сух и прям, слишком подозрителен.

– Нужно заметить, что до того дня, вернее, до той ночи о юношах, ставших впоследствии вашими друзьями, в городе не было никаких разговоров и у них не было никаких неприятностей.

Эмиль снова оглянулся. Его взгляд встретился со взглядом Лурса, который сидел в самом темном углу кабинета около камина в стиле ампир.

Маню по-прежнему ничего не понимал. Барахтался в какой-то жиже. Искал точки опоры. Взгляд его говорил: «Что вы еще выдумали?»

– Обернитесь ко мне и сообразовывайте отвечать на вопросы. Давно вы работаете в качестве продавца в книжном магазине Жоржа?

– Год.

– А до того?

– Учился в школе.

– Простите, простите! А не работали ли вы некоторое время в агентстве по продаже недвижимого имущества на улице Гамбетты?

На сей раз мальчик яростно оглядел их всех и крикнул:

– Да!

– Не скажете ли вы нам, при каких обстоятельствах вы ушли из агентства?

Мальчишка вызывающе вскинул голову. Он весь словно застыл, с головы до ног.

– Меня выгнали! Да, выгнали! Точнее, господин Гольдштейн, плативший мне двести франков в месяц при условии, что я буду разъезжать по их делам на своем собственном велосипеде, выгнал меня потому, что в так называемой малой кассе оказалась недостача в двенадцать франков.

– Или около того. В малой, как вы выражаетесь, кассе хранились деньги, которые Гольдштейн выдавал вам на марки, на заказные отправления, на мелкие канцелярские расходы. В течение известного времени он терпеливо следил за вами, отмечал все ваши расходы на посылки, ваши траты и так далее. Таким образом, он поймал вас с поличным... Вы мошенничали с марками и с расходами на транспорт.

Наступило молчание, долгое, давящее. Дождь не унимался. И тишина, царившая в коридоре за дверью, почему-то казалась еще более пугающей, чем здесь, в кабинете прокурора.

Рожиссар движением руки остановил Дюкупа, и тот понял, что не стоит задерживаться на мелочах.

Но было уже слишком поздно. Следователь колко и настойчиво спросил:

– Ну, что же вы нам скажете?

Молчание.

– Полагаю, что вы признаетесь?

Тут трое мужчин почти физически увидели вздох Маню, шедший из самой глубины легких; потом он выпрямился, медленно обвел присутствующих глазами и отчеканил:

– Больше я ничего не скажу!

Взгляд его задержался на лице Лурса, и в нем промелькнула тень колебания, сомнения – возможно, потому, что большие глаза адвоката были еще печальнее, чем всегда.

VII

Через полчаса по зданию суда разнесся слух, что Лурса будет защищать Эмиля Маню. Он еще сидел в кабинете прокурора. Дверь все время оставалась закрытой, только раз Рожиссар покинул комнату – он обещал жене позвонить в половине двенадцатого и, не желая говорить из кабинета, ходил в соседнее помещение.

– Он чуть ли не умолял мальчишку, чтобы тот согласился взять его защитником! – сказал месье Жердь своей не менее длинной супруге, находившейся на другом конце провода.

Прокурор явно преувеличивал. Правдой было лишь то, что описываемая им сцена прошла довольно-таки нелепо, и повинны в этом были в равной мере все присутствующие. Рожиссар с Дюкупом растерялись, когда юноша рассвирепел и отказался отвечать на их вопросы. Они отошли к окну и стали вполголоса совещаться. Вернувшись к столу, Дюкуп объявил:

– Я считаю своим долгом сообщить вам, что по закону вы можете уже сейчас вызвать сюда своего будущего адвоката и потребовать его присутствия при дальнейших допросах...

Понятно, что при слове «адвокат» Маню машинально взглянул на Лурса. Просто по ассоциации идей. Однако Лурса чуть ли не покраснел. Возможно, ему еще удалось бы скрыть свои чувства от людей взрослых. Но не от этого мальчугана, потому что те чувства, которые сейчас владели им самим, были столь же наивными и столь же бурными, как чувства ребенка.

Он буквально сгорал от желания защищать Эмиля! И так как он знал, что желание это светится в его глазах, он отвернулся.

Маню ему не доверяет. А раз не доверяет...

Те двое, Рожиссар и Дюкуп, ничего не поняли, потому что реакция Эмиля была чисто мальчишеская, не как у взрослого, но он, Лурса, решил, что понимает, так как хотел понять. Эмиль насторожился. Он думал: «Возможно, из-за него меня и взяли... Он сердится, что я скомпрометировал его семью... Он в родстве со всеми этими людьми...»

И он произнес вслух, стараясь поймать взгляд своего партнера по игре:

– Я выбираю господина Лурса!

Это означало: «Вы видите, я ничего не боюсь! Мне нечего скрывать! Я и сам еще не знаю – враг вы мне или друг. Но сейчас, когда я доверился вам, доверился по доброй воле, вы не посмеете меня предать!...»

Прокурор и следователь переглянулись. Дюкуп озабоченно почесал авторучкой кончик своего длинного носа. А Лурса просто сказал:

– Согласен... Полагаю, господа, что в таком случае после опознания личности обвиняемого вы дадите мне время изучить дело. Давайте отложим допрос на завтра.

Прокурор вызвал секретаря.

Когда Лурса вышел из прокурорского кабинета, до Николь и госпожи Маню уже дошла новость. Они обе одновременно поднялись со скамейки. Николь поглядела на отца с любопытством, только с любопытством. Она еще не понимала. И предпочитала выжидать.

Но трудно было требовать такой же выдержки от матери Маню.

Вся публика в приемной могла видеть их троих – в центре Лурса, поглядывавшего вокруг с каким-то странным выражением. Некоторые нарочно замешкались, чтобы на него посмотреть.

У госпожи Маню были красные, заплаканные глаза, в руке она комкала носовой платочек. Подобно всем несведущим в вопросах правосудия, она засыпала Лурса вопросами:

– Раз его не обвинили, почему же его не выпускают? Как же можно держать в тюрьме человека, когда против него нет никаких доказательств? Все это те, другие, господин Лурса! Поверьте мне, я его знаю и говорю, что его втянули другие...

Кое-кто улыбался. В глазах адвокатов зрелище их коллеги, на которого насел клиент, всегда немного комично. Поэтому-то они стараются избегать публичных сцен.

А он, Лурса, продолжал стоять здесь словно нарочно. Госпожа Маню тоже была чуточку смешна, смешна и трогательна, как-то удивительна жалка, минутами трагична.

– До последнего времени мальчик даже из дома никогда не выходил... В конце концов, если хотите, это я виновата в том, что произошло... Я ему каждый день твердила: «Эмиль, разве можно после работы безвыходно сидеть в комнате? Ты слишком много читаешь... Пойди подыши свежим воздухом, повидайся со своими сверстниками». Мне хотелось, чтобы его друзья заглядывали к нам вечером, играли в какие-нибудь игры...

Время от времени она, несмотря на свое волнение, бросала на Лурса чересчур пронизательные взгляды; несмотря ни на что, она не доверяла ему, как, очевидно, не доверяла любому, даже сыну.

– Он начал по вечерам уходить с Люска, и мне это определенно не понравилось... Потом стал возвращаться все позже и позже, да и характер у него изменился. Я не знала, куда он ходит... Иногда он спал в ночь всего часа три...

Слушал ли ее Лурса? Он смотрел на Николь, которая с некоторым нетерпением ждала конца этих излияний. Смотрел на тонкое лицо матери Маню, которая считала своим долгом время от времени всхлипывать.

– Если это ему поможет, не стесняйтесь с расходами... Мы люди небогатые. У меня на руках свекровь... Но ради него я соглашусь до конца моих дней сидеть на черством хлебе...

Молодой стажер изредка слал корреспонденции в одну парижскую газету. Не снимая мантии, он сбегал за фотографом, который жил напротив здания суда. И оба внезапно возникли перед Лурса, причем фотограф был вооружен огромным аппаратом, каким снимают новобрачных или банкеты.

– Разрешите?

Госпожа Маню приняла достойный вид. Лурса даже бровью не повел. Когда съемка окончилась, он сказал Николь:

– Проводите госпожу Маню до дому. Дождь, по-моему, стал еще сильнее. Возьмите такси...

Он был уже почти с ними, но они еще не приняли его в свой круг. Особенно чувствовалось это за завтраком, который подавала Карла, поднявшаяся для такого случая из кухни. Новая горничная, которая явилась нынче утром, не подошла, по крайней мере по словам Фины.

Фине так не терпелось узнать все подробности, что она, подавая на стол, не переставала расспрашивать Николь. Не то чтобы она не доверяла Лурса. Тут, возможно, крылось нечто более серьезное, чем недоверие. Она просто не знала его и боялась, как бы он не навредил!

– А что он сказал?

– Да ничего не сказал, Фина. Я его видела только мельком. Он выбрал отца своим адвокатом...

А отец ел, пил, и рядом с ним, по обыкновению, стояла бутылка бургундского. Он охотно вмешался бы в беседу, да застенчался. Однако заметил:

– Я увижусь с ним сегодня в тюрьме... Если вы, Николь, хотите ему что-нибудь передать...

– Нет... Или, вернее, скажите ему, что полицейские сделали у них обыск, но ничего не обнаружили...

Самое удивительное было то, что Карла теперь вертелась возле Лурса, как пес возле нового хозяина.

– А в котором часу вы с ним увидите? – спросила Николь.

– В три...

– А мне нельзя его повидать?

– Сегодня нет. Завтра я направлю просьбу судье...

Все получалось пока что неловко, как-то неуверенно.

Но, пожалуй, еще показательнее, чем все эти разговоры, был один факт, до того мелкий, что даже Фина ничего не заметила, хотя именно он свидетельствовал о том, что в доме повеяло чем-то новым.

Лурса выпил примерно полбутылки. А обычно к этому времени он уже успевал выпить целую и доканчивал ту, что ему ставили на стол. Когда Лурса потянулся за бутылкой, Николь взглянула на отца. Он почувствовал ее взгляд, понял, что он означает... На миг его рука застыла над столом. Но все же он налил себе вина, налил меньше четверти стакана, будто устыдясь чего-то.

А через несколько минут он прошел к себе в кабинет, где сегодня утром даже не успел поставить греться бургундское.

Все тот же промозглый холод, тюремный двор, коридоры, надзиратель, кутивший длинную вонючую трубку.

– Добрый день, Тома.

– Добрый день, господин Лурса. Давненько я не имел удовольствия вас видеть. Вы к тому молодому человеку пришли, если не ошибаюсь? Где вам угодно его видеть, в приемной или у него в камере? Он рта не раскрыл с тех пор, как его сюда доставили, даже от еды отказался.

В городе по случаю хмурой погоды уже зажгли фонари, в витринах вспыхнул электрический свет. Лурса с кожаным портфелем в руках последовал за Тома, который отпер дверь под номером 17 со словами:

– Подождите-ка здесь. Я сейчас уведу другого.

Эмиля поместили в камере для двоих. И, увидев его соседа, адвокат недовольно нахмурился. Судя по всему, в напарники Эмилю попался завсегдатай мест заключения, типичная шпана, растленный субъект, которому, вероятно, поручили прощупать новичка.

Маню сидел в своем уголке. Оставшись наедине с Лурса, он только чуть-чуть поднял голову и взглянул на адвоката. Стояла тишина, особенно гнетущая, потому что тюрьма находилась в центре города, а его дыхание сюда не долетало; тишину прервало лишь чирканье спички по коробку, так как Лурса собирался закурить.

– Не хотите сигарету?

Отрицательное покачивание головы. Но уже через секунду Эмиль протянул за сигаретой руку и неуверенно произнес:

– Спасибо!

Обоих смущало это свидание с глазу на глаз, особенно остро ощущал неловкость Лурса; желая сбросить оцепенение тишины, он спросил:

– Почему вы пытались покончить с собой?

– Потому что я не хотел идти в тюрьму.

– Однако сейчас вы в тюрьме и сами могли убедиться, что не так страшен черт, как его малюют. Впрочем, долго вы здесь не останетесь. Кто убил Большого Луи?

Он явно поспешил. Маню откинул голову таким резким движением, что адвокату почудилось, будто он готовится к прыжку.

– Почему вы меня спрашиваете об этом? Вы, должно быть, думаете, что я знаю? Может, вы тоже считаете, что убил я?

– Я убежден, что не вы. И надеюсь это доказать. Но если вы мне не поможете, боюсь, мне это, к несчастью, не удастся...

Смущало Лурса не то обстоятельство, что они сидят вдвоем в этой плохо освещенной камере, а отчетливое сознание, что ставит он вопросы не потому, что так велит профессиональный долг, а скорее из любопытства.

Если бы еще речь шла об обыкновенном, так сказать, безличном любопытстве. Но ему хотелось знать все, чтобы приблизиться к их компании, войти в нее самому.

Впрочем, слово «компания» ничего не объясняло; просто свой порядок вещей, своя жизнь в ходе общей жизни, чуть ли не особый город в городе, своя особая манера мыслить и чувствовать, крохотная щепотка человеческих существ, которые, подобно некоторым планетам в небесах, следуют по своей собственной таинственной орбите, нисколько не заботясь о великом мировом порядке.

Именно потому, что некий Эмиль, потому, что некая Николь очутились вне установленных людьми правил, их так трудно было приручить. Лурса мог сколько угодно вращать своими большими водянистыми глазами, крутить головой, как медведь или, вернее, как бородатый морж...

– Можете ли вы сказать, через кого вы свели знакомство с шайкой?

– Я уже вам говорил – через Люска!

Итак, Маню, несмотря на свой растерянный вид, все-таки сохранил здравый смысл, ибо помнил все, что наговорил в запале адвокату, хотя, казалось, тогда совсем потерял хладнокровие.

– Вам сообщили правила, принятые шайкой, и всякие там пароли?

Лурса пытался припомнить собственное детство, но ему пришлось заглянуть в свое прошлое много дальше, за пределы возраста Эмиля, ибо в восемнадцать лет он был уже одинок.

– Существовал устав...

– Писанный?

– Да... Его хранил в бумажнике Эдмон Доссен... Он, должно быть, его сжег...

– Зачем?

Очевидно, юноша счел этот вопрос нелепым, так как вместо ответа молча пожал плечами. Но Лурса не пал духом, наоборот, он решил, что все же добился успеха, и снова протянул Эмилю портсигар.

– Полагаю, что этот устав составил Доссен?

– Мне об этом не сообщили, но это вполне в его характере.

– Что в его характере? Организовывать общества?

– Усложнять жизнь! Разводить писанину! Он заставил меня подписать один документ насчет Николь...

Тут требовался бесконечно деликатный подход. Одно неловкое слово – и Маню опять уйдет в свою раковину. Лурса не решился приставать к нему с расспросами. И попытался обратить все в шутку:

– Контракт?

И мальчуган, не поднимая глаз от бетонного пола, ответил:

– Он мне ее продал... Вам этого не понять... Это входило в правила... По уставу ни один член группы не имел права отнять у другого женщину без его согласия и без особого вознаграждения...

Он покраснел, только сейчас догадавшись, что для чужого уха все это звучит чудовищно и ужасно. И однако, это была чистая правда!

– И за сколько же вы ее купили?

– Я обязался уплачивать пятьдесят франков в месяц в течение года.

– А Эдмон? Значит, он был предыдущим владельцем?

– Так, по крайней мере, он пытался представить дело, но я отлично видел, что между ними никогда ничего не было...

– Полагаю также, что мой племянник Доссен сжег и эту бумажку... С ваших слов получается, вроде он был у вас главарем...

– Он и был!

– Итак, речь шла не о простых встречах друзей, но о настоящей организации. Как же она называлась?

– Банда «Боксинг».

– Джо Боксер входил в нее?

– Нет... Устав он знал, но не хотел мешаться в такие дела, потому что у него патент...

– Не понимаю...

– Ну, если бы его взяли, у него отобрали бы патент... Так как он рецидивист...

Лурса не улыбнулся, услышав это столь неожиданное в устах Эмиля слово. За стенами тюрьмы на город уже, должно быть, спустилась ночь. Порой из коридора доносились размеренные шаги надзирателя.

– У вас были определенные дни для сборищ?

– Мы встречались каждый день в «Боксинг-баре», но эта явка была необязательной. Только по субботам все обязаны были собираться в баре и приносить...

Он замолчал.

– Что приносить?

– Если я скажу вам все без утайки, вы сохраните профессиональную тайну?

– Я не имею права говорить что-либо без вашего разрешения.

– Тогда дайте мне еще сигарету... У меня их отобрали. Не только сигареты, но и все, что было в карманах. И шнурки от ботинок тоже.

Он готов был разреветься. Еще секунду назад он говорил вполне здраво, а сейчас, увидев свои ботинки без шнурков, проведя рукой по распахнутому вороту сорочки, он судорожно дернул шеей, еле сдерживая рыдания.

– Будьте мужчиной, Маню! – произнес Лурса почти без иронии в голосе. – Вы говорили, что каждую неделю члены группы должны были приносить...

– Какой-нибудь украденный предмет! Вот что! Я не желаю лгать! Я знал, когда Люска обещал свести меня с ними, что у них это принято...

– Откуда вы это знали?

– Мне говорили.

– Кто?

– Почти все молодые люди в городе были в курсе дела... Подробности они, конечно, не знали... Но говорили, что существует шайка...

– Вы давали клятву?

– Письменно.

– Полагаю, что вам надо было пройти через какое-то испытание?

– Как раз та машина... Если бы оказалось, что я не умею водить, я должен был бы пробраться в пустой дом, просидеть там час и вернуться с какой-нибудь вещью...

– С любой?

– Предпочтительно с какой-нибудь громоздкой, чтобы трудно было ее вынести. Это как бы состязание... Самым простым считалось стащить что-нибудь с прилавка... Люска однажды принес тыкву весом в десять кило...

– А что вы делали с добычей?

Эмиль насупился и молчал.

– Полагаю, что все это сносилось ко мне в дом?

– Да, на чердак!

– До того как вы вступили в шайку, сколько времени продолжались такие налеты?

– Должно быть, месяца два... не знаю точно... По-моему, этой игре Эдмон научился на каникулах в Экс-ле-Бэне, там несколько человек развлекались такими делами...

Лурса не раз спрашивал себя, как могла установиться такая близость между Николь и ее кузенем Эдмоном. А все оказалось так просто! Правда, удивляться начал он еще в отдаленную эпоху – кажется, дня три тому назад, – когда еще безвылазно сидел в своей берлоге.

Его сестра Марта как-то сообщила письмом, что сняла в Экс-ле-Бэне виллу, и спрашивала, не отпустит ли он погостить к ним Николь.

Николь провела там месяц, и Лурса не беспокоился о ней, вообще не беспокоился, жила ли она дома или уезжала.

Значит, вот какими играми в Экс-ле-Бэне развлекались юноши и девушки из хороших семейств, пока их родители посещали водолечебницы и казино!

– Эдмон приносил много вещей?

– Однажды он принес серебряное ситечко для кофе из пивной на улице Гамбетты. Другой раз начался спор, так как Детриво заявил, что будет брать потихоньку вещи только у себя дома, а по-настоящему не желает воровать, боится... Тем не менее, когда Большой Луи заговорил о полиции, даже признался, что находится не в ладах с правосудием и не желает, чтобы его снова забрали, именно Эдмон хвастался тем, что мы делали...

– Все это происходило в маленькой комнатке на третьем этаже?

– Да... Эдмон слишком уж умничал, все раздувал... Это в его стиле... Уверен, что Большой Луи стал требовать денег только из-за него... Он утверждал, что из-за несчастного случая, то есть из-за нас, он не может работать, а жена ждет почтовых переводов... Сначала он потребовал тысячу франков и велел принести их на следующий день...

– Вы устроили складчину?

– Нет! Все от меня отступились!

– И кто же достал эту тысячу?

– Я...

Теперь он уже не плакал, а просто отвернулся к стене, потом вдруг, повинувшись внутренней потребности, взглянул с вызовом прямо в глаза адвокату:

– А что я мог, по-вашему, сделать? Все твердили, что виноват я, что я нахвастался, будто умею водить машину... Из-за Большого Луи я каждый вечер мог видеться с Николь... Я все вам должен говорить, верно? Ведь вы мой адвокат... Вы сами захотели! Да, да! Я это сразу почувствовал... Не знаю, почему вы так поступили, только вам захотелось! Теперь пеняйте на себя! Если бы я мог убежать с Николь, не важно куда...

– А она, что она говорила по этому поводу?

– Ничего не говорила.

– А где вы взяли тысячу франков?

– Дома... Мама еще не знает... Я рассчитывал рано или поздно возратить... Я знаю, где у мамы лежат деньги: в белье шкафу, в старом папином бумажнике...

– А остальную сумму?

– Какую остальную?

– Две тысячи шестьсот франков?

– Кто вам о них сказал?

– К сожалению, приобщено к делу. Полиция обнаружила почтовые переводы, которые Большой Луи посылал своей подружке...

– А где доказательства, что это я их посылал?

– Приходится предполагать, что вы.

– Люска дал мне взаймы четыреста франков... А остальные... Рано или поздно вы все равно узнаете, потому что, когда он будет сводить счета... Я не знал, что делать... Большой

Луи мне угрожал, говорил, что предпочтет во всем покаяться полиции и нас всех засадят в тюрьму. Вы знаете господина Тестю?

– Рантье с Оружейной площади?

– Да... Это наш клиент... Он покупает много книг, особенно дорогие издания, мы их для него выписываем из Парижа... Так вот, Тестю пришел в магазин, когда господин Жорж поднялся на минуточку к себе выпить чаю – он всегда в четыре часа пьет чай... и заплатил по счету... Тысячу триста тридцать два франка... Я их взял... Я рассчитывал вернуть их до конца месяца...

– Каким образом?

– Не знаю. Я бы нашел средство... Не могло же так длиться вечно... Клянусь, я не вор! Впрочем, Эдмон был в курсе...

– В курсе чего?

– Я объявил ему, что не желаю до бесконечности быть козлом отпущения... Пускай и другие мне помогут... Если бы они не напоили меня в тот день...

Отдаленные гудки автомобиля прорезали густой пласт тишины, напомнив обоим, что рядом лежит небольшой городок и каждый житель здесь убежден, что знает, чем живет его сосед.

Почему именно сейчас Лурса вспомнил о Судейском клубе? Никакого отношения к их разговору это не имело. Несколько лет назад судьи и адвокаты – было это в ту эпоху, когда бридж только-только начал проникать в провинцию, – решили создать свой клуб, так как в городе клуба бриджистов еще не существовало.

В течение нескольких недель все сколько-нибудь значительные обитатели Мулэна получали циркуляры и приглашения. Был даже создан временный комитет, и Дюкупа выбрали генеральным секретарем.

Потом избрали постоянный комитет под председательством Рожиссара и одного генерала. Почему именно генерала? И под клуб купили особняк на углу авеню Виктора Гюго.

Лурса обнаружил свое имя в списке членов клуба не потому, что он дал согласие, а потому, что зачисляли подряд всех влиятельных лиц Мулэна. Он даже получил роскошно изданные бюллетени клуба.

Но и в тишь его кабинета, где он отгородился от мира, доходило эхо споров, которые вспыхивали каждый раз, когда вставал вопрос о приеме новых членов. Кое-кто настаивал, чтобы прием в клуб был ограничен, чтобы в него входили только сливки мулэнского общества. Другие, напротив, в целях пополнения бюджета предлагали более демократический статут.

Судейские оспаривали у адвокатуры почетные места; три заседания были посвящены вопросу о приеме некоего хирурга, делавшего пластические операции, причем одна половина членов клуба требовала его принять, а другая отвергала его кандидатуру.

Дюкуп, все еще находившийся на посту генерального секретаря, последовал примеру прокурора, когда тот с доброй половиной своих соклубников вышел из состава правления после одного особенно бурного заседания.

Потом о клубе забыли, и вспомнили всю эту историю только через несколько недель, в тот самый день, когда поставщики предъявили свои требования, и тут лишь обнаружилось, что главный распорядитель подписывал довольно странные счета...

Правда и то, что дело чуть не дошло до суда; от каждого члена клуба пришлось потребовать определенной денежной жертвы, на что многие ответили отказом.

– Скажите-ка, Маню...

Он чуть было не сказал: Эмиль.

– Мне необходимо знать всех членов вашей, как вы выражаетесь, шайки... Большой Луи никогда не говорил, что его намеревается посетить кто-нибудь из его друзей или сообщников?

– Нет!

- А о том, что его любовница собирается приехать в Мулэн?
 - Нет!
 - Между вами обсуждался вопрос о том, что надо как-нибудь от него отделаться?
 - Да.
- Надзиратель постучал в дверь, приоткрыл ее:
- Вам пакет, господин адвокат... Принес из прокуратуры рассылный...
- Лурса разорвал конверт и прочел несколько строк, напечатанных на машинке:

«Прокурор имеет честь сообщить мэтру Лурса, что некий Жан Детриво исчез из родительского дома со вчерашнего вечера».

Все запутывалось окончательно! И как на грех, он, Лурса, за восемнадцать лет отучился понимать чужую жизнь.

Однако он что-то чувствовал... Ему казалось, что надо сделать еще одно усилие, и он ухватит все эти... все эти...

– Детриво... – произнес он вслух.

– Что, что?

– Что вы думаете о Детриво?

– Он наш сосед... Его родители построили дом на нашей улице.

– А как он попал в шайку?

– Сам не знаю... Он очкарик... Всегда хотел быть всех хитрее или, как он говорил, всех объективнее. Он такой бледный, тихий...

– Из прокуратуры мне сообщили, что он исчез.

Маню задумался, и забавно было видеть, как этот взрослый мальчуган размышляет; даже лицо его стало по-мужски напряженным.

– Нет! – сказал он наконец.

– Что нет?

– Не думаю, что это он... Он воровал зажигалки.

Лурса утомили эти постоянные усилия, которых требовала от него беседа. Потому что приходилось расшифровывать каждую фразу, словно стенограмму или написанное кодом письмо.

– Не понимаю, – признался он.

– Это было легче всего... Он покупал в табачном магазине сигареты, а там на прилавке выставлены зажигалки... Он нарочно ронял несколько штук на пол... Потом извинялся, поднимал их, а одну клал себе в карман...

– Скажите, Маню...

Он снова чуть было не назвал его Эмилем. Чуть было не задал вопрос, который не следовало задавать. Он хотел спросить: «Каким все-таки побуждениям повиновались вы, идя на воровство?»

Нет, нет! Слишком глупо! Он понял это, еще в сущности ничего не поняв; он барахтался между внезапными вспышками озарения и противоречиями.

– И все-таки был один из вашей компании...

– Да.

– Кто?

Молчание. Маню по-прежнему глядел в пол.

– Не знаю.

– Доссен?

– Не думаю... Или тогда...

– Что тогда?

– Тогда он боялся бы...

Впервые за весь сегодняшний день Лурса почувствовал, что ему недостает обычной порции вина. Он устал. Обмяк.

– Вероятно, завтра к девяти часам утра вас отведут в суд. Попытаюсь увидаться с вами до допроса. Если не удастся, я, во всяком случае, буду присутствовать. Не спешите с ответом. В случае надобности открыто спрашивайте у меня совета. Думаю, что следует сказать всю правду о воровстве...

Он понимал, что Маню разочарован, да и Лурса чувствовал разочарование, сам не зная почему. Очевидно, потому, что хотел ускорить ход событий, надеялся одним махом проникнуть в тот неведомый мир, существование которого он лишь предчувствовал.

Да и Эмилю он не сказал ничего определенного. Когда дверь за адвокатом закрылась, тот оказался во власти все той же растерянности...

Правда, дверь в камеру тут же открылась снова. Это вернулся адвокат.

– Да, я совсем забыл! Я немедленно сделаю заявление, чтобы к вам в камеру поместили кого-нибудь другого. Этот – «наседка». Но не доверяйте и тому, кто придет на его место.

Может быть, все это потому, что между ними существует разница почти в тридцать лет? Словом, контакта не получилось! Выйдя из ворот тюрьмы под дождь, Лурса, прижимая к левому боку портфель, поглядел на язычки газа, на отблески фонарей, на улицу, где у перекрестка двигалась плотная толпа.

Справа находилось маленькое бистро, откуда некоторым заключенным приносили обед. Лурса вошел.

– Красного вина...

Сейчас было самое время выпить. Он был растерян, чуть ли не с тоской вспоминал свой кабинет с его устоявшимся одиночеством.

Трактирщик в вязаной фуфайке молча глядел, как Лурса пьет вино, и наконец спросил:

– По-вашему, много народу втянуто в это дело? Верно ли, что почти все молодые люди из хороших семей состояли в шайке?

Итак, весь город был уже в курсе дела.

– Налейте еще...

Вино было густое, терпкое, лиловатое.

Лурса расплатился. Для первого раза он слишком долго пробыл на воле, слишком много общался с людьми. Разве выздоравливающий человек может с первого же дня ходить, не отдыхая, с утра до вечера?

Вновь очутившись на улице, он, однако, заколебался – ему захотелось снова зайти в суд, без всякой на то причины, просто чтобы вдохнуть воздуха, которым дышит враждебный лагерь.

Часть вторая

I

Лурса поднял голову, исподтишка поглядел на дочь, встал с кресла и пошел помешать в печурке, которая временами, особенно когда налетал шквальный ветер, начинала фыркать. Он чувствовал, что Николь, старательно склонившаяся над папками, наблюдает за ним, даже не скосив глаз, что она как бы держит его на кончике невидимой нити, и все-таки направился к стенному шкафу, открыл его, взял бутылку рома.

– Тебе не холодно? – неловко буркнул он.

Она ответила, что не холодно, и в голосе ее прозвучали одновременно упрек и снисхождение. Уже несколько раз он ставил бутылку на место, не налив себе рома, и только глубоко вздыхал от усталости.

– Последняя ночь!.. А завтра...

Было уже за полночь, и город был пустынный, небо светлое, но какое-то безжалостно-светлое, по улицам гулял ветер, вздымая с мостовой тонкую снежную пыль.

Ставни в кабинете он не закрыл, и на всей их улице, во всем их квартале окошко Лурса было единственным живым пятнышком.

Они приближались к концу туннеля, туннеля протяженностью в три месяца. Утром первого января уже рассеялась тяжелая скуфья сырости, давившая на город. Кончились эти липкие ночи, когда невольно держишься поближе к домам, а с крыш падают капли, и все белое и блеклое, как офорт.

Ночи стали такие длинные, что от прожитого дня ничего не оставалось в памяти, кроме слабо освещенных лавчонок, запотевших окон, подбитых мраком улиц, где каждый прохожий становился загадкой.

– До чего ты дошла? – спросил Лурса, садясь и шаря вокруг себя, чтобы отыскать пачку сигарет.

– До шестьдесят третьей! – ответила Николь.

– Тебя не клонит ко сну?

Она отрицательно покачала головой. Шестьдесят три папки из девяноста семи! Девяносто семь папок стопкой лежали здесь, на письменном столе, одни – разбухшие от бумаг, другие – совсем плоские, в них подчас хранилась всего одна-единственная страничка.

Посреди каминной доски на бесцветном листке календаря выделялись огромные черные цифры: воскресенье 12 января. И так как было за полночь, уже наступил понедельник 13 января, другими словами, наступил *этот день*.

Возможно, для других он ничего не значил. Но для Лурса, для Николь, для Карлы, для горничной, для некоторых людей в их городе и вне его, понедельник 13-го был концом туннеля. В восемь часов утра наряд полиции выстроится на ступеньках здания суда и будет проверять пропуска, которые были розданы не щедро. Тюремная карета доставит Эмиля Маню, который за это время успел еще похудеть, но возмужал и которому мать на той неделе купила новый костюм; Лурса в раздевалке наденет свою мантию, с ней немало повозилась Николь, выводя жирные пятна.

– Разве нет второго допроса Пижоле? – удивилась Николь, наморщив лоб.

Кто знает, кто такой Пижоле? Они! Они да еще несколько человек, которые так долго корпели над этим делом, что могли бы объясняться между собой на непонятном для других языке.

– Был лишь один допрос, от двенадцатого декабря, – не задумываясь, ответил Лурса.

– А я почему-то вбила себе в голову, что должно быть два допроса...

Пижоле – сосед Детриво – жил сейчас в родном городе на ренту; в свое время он играл вторую или третью скрипку в Парижской опере. Сосед Детриво и, следовательно, живет на одной улице с Маню.

«Я с ним не знаком... Знал только, что чуть подальше, через несколько домов, кто-то дает уроки игры на фортепьяно... Что касается Детриво, то я мог их наблюдать в их же саду из своего окна... Разумеется, летом. Когда они сидели в столовой, ко мне доносился гул голосов... Недостаточно отчетливо, чтобы разобрать... Только изредка словечко-другое... Зато я слышал, как у них открывали или запирали дверь... Я никогда не засыпаю раньше двух часов ночи... Привык в театре... Читаю в постели... Замечал, что кто-то у Детриво возвращается очень поздно, так что иногда даже просыпался от стука».

Все это было, так сказать, предисловием к вопросу, поставленному следователем Дюку-пом:

«Вы помните ночь с седьмого на восьмое октября?»

«Чудесно помню».

«Что дает вам основание утверждать это столь категорически?»

«Одна деталь: после полудня я встретил своего приятеля, который, по моим расчетам, должен был находиться еще на Мадагаскаре...»

«А почему вы думаете, что это было именно седьмое?»

«Мы вместе пошли в кафе, что случается со мной редко. Там, в кафе, прямо передо мной висел большой календарь, и я как сейчас вижу цифру семь... С другой стороны, я уверен, что в этот вечер кто-то из Детриво вернулся в два часа ночи, как раз тогда, когда я собирался погасить свет...»

Девяносто семь папок! Девяносто семь человек, подчас самые неожиданные фигуры, уже переставшие быть индивидуальностью – полицейским, девушкой из кафе, продавцом из «Магазина стандартных цен», клиентом книжной лавки Жоржа, – уже превратившиеся в частицу огромного дела, которое в последний раз листала Николь.

В восемь часов утра Эмиль Маню, обвиняемый в убийстве Луи Кагалена, по кличке Большой Луи, совершенном 8 октября вскоре после полуночи в особняке, принадлежащем Гектору Лурса де Сен-Мару, адвокату, сядет на скамью подсудимых, и начнется суд.

В течение трех месяцев, пока длилось следствие, небо, не переставая ни на час, проливалось слезы, город был грязный и серый, и люди сновали взад и вперед по улицам, словно муравьи, спешившие по каким-то своим загадочным делам.

На столе Лурса лежали девяносто семь папок из грубого желтоватого картона и на каждой фиолетовыми чернилами были написаны фамилии.

Но день за днем, ночь за ночью, час за часом каждая папка, каждый листок оживали, становились мужчиной или женщиной, имеющими свое занятие, свое жилище, свои недостатки или пороки, свои мании, свою манеру говорить и держаться.

Вначале их была всего жалкая горсточка: Эдмон Доссен, которого родители послали в санаторий в Швейцарию, сын колбасника Дайа, Детриво, которого в конце концов обнаружили в Париже на Центральном рынке, где он без гроша в кармане бродил вокруг повозок с овощами в надежде, что его позовут разгрузить их... Потом Люска, которого каждый божий день можно было видеть на улице возле «Магазина стандартных цен», где шла распродажа и где он торговал грубыми охотничьими сапогами...

Потом Груэн, который редко встречался с членами шайки, но все же состоял в ней и который был сыном генерального советника!

В течение трех месяцев – за исключением последних недель – Эмиля Маню каждое утро под конвоем двух жандармов доставляли из тюрьмы в суд, и дни заключения текли так же медленно, как в книжной лавке Жоржа, были так же до мелочей регламентированы.

Хотя Дюкуп отлично знал, что подследственный понадобится ему не раньше десяти или одиннадцати часов, он требовал, чтобы Маню был в его распоряжении уже с восьми утра. В этот ранний час в коридоре суда еще горел свет и уборщицы мыли полы.

Маню вводили в крошечный чуланчик, который отвели специально для него: грязные стены, скамья и в углу помятые ведра и щетки. Один из жандармов уходил выпить кофе и возвращался с газетой в руке, а от усов его пахло ромом. Потом уходил второй. Свет электрической лампочки бледнел. Над головой раздавались шаги: значит, явился Дюкуп, раскладывает бумаги, передвигает кресло, устраивается поудобнее и сейчас велит вызвать первого свидетеля...

Возможно, и есть в городе люди, которые еще живут иными мыслями, у них свои заботы, свои планы; но для нескольких человек весь мир в какой-то мере застыл восьмого октября после полуночи.

«Вы Софи Штюфф, содержательница кабачка в местечке, называемом Клокто?»

«Да, господин следователь».

«Вы родились в Страсбурге и вступили в брак с неким Штюффом, служившим в отделе городской очистки... Оставшись вдовой с двумя дочерьми, Евой и Кларой, вы жили сначала в Бретины, где работали поденщицей... Вы сожительствовали с неким Труле, который вас бил и на которого вы подавали жалобу...»

Речь шла о кабатчице, хозяйке «Харчевни утопленников». Всего пять страниц, включая допрос обеих дочек. Но он, Лурса, он ездил в харчевню три-четыре раза, любовался портретом покойного Штюффа, тупо взиравшего на свет божий, любовался и прочими фотографиями, в частности – обеих дочек еще в младенческом возрасте и даже этого самого Труле, который был жандармом и колотил свою сожительницу.

«Кто из всей этой шайки был наиболее активным? Кто обычно платил за остальных?»

«Месье Эдмон, конечно!»

Один лишь Лурса знал через Николь, что каждый перед попойкой вносил свою долю Эдмону!

«Танцуя, он сдвигал каскетку на ухо и не выпускал изо рта сигареты. Он приносил пластинки с „жава“, потому что тогда у нас их еще не было. Держался он очень прямо и уверял, что так принято на танцульках...»

«Он за вами не ухаживал?»

«Он делал вид, что нас презирает. – (Это показания Евы, младшей сестры.) – Называл нас шлюшками. Притворялся, что верит, будто у нас, в нашем доме...»

«Что в вашем доме?»

«Ну как это вы не понимаете? Думал, что у нас в доме на верхнем этаже есть специальные комнаты и мы ходим туда с любым... Стоял на своем, да и только...»

«И он ни разу не пожелал туда подняться?»

«Нет... Зато колбасник...»

«Что он такое делал, этот колбасник?»

«Вечно нас хватал... Как мы его ни отталкивали, он снова за свое брался... Если не ко мне приставал, то к моей сестре, а то и к маме... Ему только бы женщина!.. А сам гоготал!.. Рассказывал всякие мерзкие истории...»

Дюкуп и Лурса теперь уже не здоровались за руку. Когда Лурса входил в кабинет следователя во время допроса Маню или для того, чтобы присутствовать при очной ставке, оба холодно обменивались любезностями.

«Прошу вас... Нет, сначала вы... Если высокоуважаемый защитник...»

Лурса, казалось, приносил с собой в здание суда в складках одежды, в щетине бороды, даже в своих ужимках и гримасах, даже в больших своих глазах след того странного затхлого мира, куда он в одиночестве погружался на долгие часы и откуда возвращался с новой добычей, с новым, еще не знакомым накануне именем и тут же заводил новую желтую папку.

Это он обнаружил Пижоле! Это он чуть ли не силком привел к следователю жирного господина Люска, Эфраима Люска с такими необъятными ляжками, что он даже ходил раско-рякой.

Торговец игрушками, уstraшенный близостью правосудия, бормотал: «Я думал, мой сын просто влюблен. Я так и сказал его матери. Мы оба очень волновались...»

Комиссар Бине тоже шнырял по всем закоулкам города и порой приводил нового свидетеля.

Теперь груда папок лежала здесь, на письменном столе Лурса, печурка временами вспыхивала, и Николь старалась сидеть особенно прямо, чтобы отец не заметил, как клонит ее ко сну.

Это она добровольно взяла на себя обязанности отцовского секретаря, что-то отмечала, сопоставляла показания, часы, минуты, сортировала бумаги, клала их каждый день на угол стола, всегда на один и тот же. Как-то, обмолвившись, отец сказал ей «ты».

Работа продолжалась главным образом по ночам, когда только они двое бодрствовали в доме, на их улице, а возможно, и во всем городе, и Лурса, вздыхая, косился на стенной шкаф, где хранилось вино.

Ибо теперь он брал из погреба только одну бутылку красного и растягивал ее на целый день! Иногда ему удавалось схитрить, он выбирался из здания суда через боковую дверь, входил в бистро и заказывал божоле.

Сначала он дал себе обещание брать только один стакан. Потом как-то неосмотрительно показал хозяину на пустой стакан, и тот налил еще вина, а с тех пор подавал ему вторую порцию, не дожидаясь заказа.

Но теперь он никогда не был пьян! Ни разу! Даже наоборот! Но вот сегодня, чтобы не притупились зубы, ему требовалась дополнительная порция алкоголя.

– Я отмечу противоречия в показаниях Берго, – сказала Николь, подчеркивая фразу жирной красной чертой. – Он уверяет, что двадцать первого октября Эмиль приходил к нему, чтобы продать часы... А судя по материалам, это не могло быть раньше четырнадцатого или пятнадцатого... Берго ошибся на целую неделю...

Берго! Еще один, о чьем существовании Лурса раньше и не подозревал! Редко-редко кто заходил, да и то случайно, в его часовую мастерскую, такую узенькую, что с улицы ее трудно было заметить; к тому же она была расположена очень неудачно – между мясной и бакалейной лавками, за рынком.

Берго... Огромный, дряблый, с отвислым животом... Берго, от которого вечно разило прогорклым маслом и который, казалось, впервые в жизни решил покинуть свою тихую заводь, где ржавели старые будильники, разобранные часовые механизмы и поддельные побрякушки...

Однако он жил! И другие тоже! И их имена, произнесенные вслух, звучали уже не как обычные имена!

Как раз когда дочь упомянула Берго, Лурса, сам того не желая, нашел определение своему собственному состоянию: в эту минуту он был подобен ученому, посвятившему годы и годы какому-нибудь монументальному труду, скажем, исследованию в десяти томах о жесткокрылых или о Четвертой династии...

Все было здесь, на его письменном столе! Вместе с именами, которые для большинства людей или ничего не значат, или значат очень мало.

Берго... Пижоле... Штюфф...

Для него они были исполнены смысла, жизни, трагедии! Стопка возвышалась, как колонна, и...

Он снова поднялся и, стараясь не замечать взгляда дочери, открыл стенной шкаф и налил себе чуточку рома.

Ибо теперь, когда все было кончено, требовалось сохранить веру. Никак нельзя по выходе из туннеля вновь попасть в зубья будничной рутины...

Но существовал Большой Луи, разумеется – мертвый Луи, живой он не представлял никакого интереса.

И еще тот, кто его убил.

И тот, кто его не убивал: Эмиль, который то весь сжимался, то сидел как оглушенный, иногда вскипал от гнева, заходил в настоящей истерике и вопил в кабинете Дюкупа:

– Я же вам говорю, что я не виноват... Вы не имеете права!.. Вы грязный тип!..

Грязным типом он обзывал вылощенного до блеска Дюкупа! Иногда он говорил, как и все, интересовался подробностями.

– А много будет народу? Правда, что из Парижа приедут журналисты?

Дюкуп в конце концов устал и, воспользовавшись рождественскими каникулами, укатил в горы отдохнуть.

От всего этого подступало к горлу, душило. Иной раз Лурса начинало казаться, что он живет не среди людей, а среди их теней.

Уже трижды после начала событий отец и сын Дайа, колбасники, затевали драку, колоутили друг друга руками, ногами.

– Ты меня не запугаешь! – кричал сын.

– Ах ты, грязный ворюга!..

– Будто сам воровать не умеешь!

Приходилось вмешиваться посторонним. Один раз вызывали даже полицию, так как папаша разбил сыну в кровь губу.

А к Детриво, которого отыскиали в Париже и который ни за какие блага мира не соглашался возвращаться в Мулэн, потому что, по его словам, он там умрет от стыда, уехал его отец, кассир. Оба они порешили, что юноша, не дожидаясь призыва, немедленно поступит на военную службу.

Теперь он служил в интендантстве Орлеана и ходил в чересчур длинной шинели, очевидно, все такой же – в очках и с прыщами на физиономии.

Четыре допроса и одна очная ставка с Маню.

«Сам не понимаю, как я мог это сделать! Я дал себя завлечь... Я всегда отказывался красть деньги, даже у родителей...»

Историю с кражами потушили. Отец Эдмона Доссена расплатился за всех. Торговцам дали отступного, и те не подали жалобы. Местная газета молчала.

Тем не менее в городе было несколько человек, на которых при встрече оборачивались. Можно было даже сказать, что существует два города, два Мулэна: один живет неизвестно зачем, без смысла и цели, и другой, для которого дело Маню было как бы неким стержнем, весь в тайниках мрака, полный самых неожиданных персонажей; вот их-то Лурса и извлекал на свет божий, а затем заводил новую папку с именем одного из них на обложке.

– Не слишком ли ты будешь завтра усталой?

Николь насмешливо улыбнулась. Разве когда-нибудь показывала она при посторонних хоть малейшую усталость или уныние? Она сбивала с толку именно тем, что всегда оставалась сама собой, невозмутимая, упрямая; казалось, даже в округлых линиях ее лица и фигуры было что-то вызывающее.

Николь не похудела. Никуда не поехала на рождественские каникулы. Каждый вечер отец, вернувшись из суда, заставлял дочь у себя в кабинете в неизменно ровном расположении духа.

Она взяла последнюю папку, лежавшую поодаль от других, где находился всего один листок дешевой почтовой бумаги, какую продают в бакалейных лавочках. Почерк был женский, неинтеллигентный, чернила водянистые, такие обычно бывают на почте или в кафе, перо плохое, так как вокруг букв синели чернильные брызги.

Месье, вы совершенно справедливо утверждаете, что Манио не виноват. Не расстраивайтесь из-за него. Я знаю, кто убил Большого Луи. Если Манио осудят, я назову убийцу.

Письмо пришло по почте на второй день Рождества, и все розыски, в частности те, которые проводились полицией по требованию Лурса, не дали результатов.

Сначала он подумал об Анжель, прежней их горничной, которая приходила его шантажировать и которую Лурса чуть было не заподозрил в убийстве Большого Луи.

Анжель устроилась работать в кафе «Невере». Он специально ездил туда, чтобы получить образчик ее почерка.

Оказалось, не она.

Тогда Лурса вспомнил о подружке Большого Луи, об этой женщине, что жила в окрестностях Онфлэра и которой покойный посылал деньги. Тот же результат!

Полиция искала адресата в обоих публичных домах Мулэна, потому что нередко убийца, не зная, кому открыть душу, пускается в откровенности с девицами.

Дюкуп утверждал, что это грубая шутка, если не дурно пахнущий маневр защиты.

Ждали второго письма, ибо те, что шлют такие послания, редко ограничиваются одним.

И вот нынче ночью – было уже без десяти час – Николь и Лурса вдруг вскочили с места, переглянулись; в передней из всех сил зазвонил колокольчик...

Лурса быстро вышел из кабинета. Спустился по лестнице, прошел через прихожую, нащупал засов.

– Увидел свет, вот и решил... – раздался голос, и Лурса сразу его узнал.

В переднюю ввалился Джо Боксер и пророкотал:

– Можете уделить мне минуточку для разговора?

Лурса десятки раз заглядывал вечерами в «Боксинг-бар», но Джо никогда еще не переступал порога их дома и поэтому первым делом с невольным чувством любопытства огляделся вокруг. В кабинете он поздоровался с Николь и остановился в нерешительности, не зная, сесть ли ему или лучше постоять.

– Боюсь, что я сделал глупость, – проговорил он, присаживаясь на самый краешек письменного стола. – Вы сейчас меня отругаете и будете совершенно правы...

Он взял сигарету из протянутой Лурса пачки, оценивающим взглядом оглядел стопку папок.

– Вы сами знаете, как бывает вечерами в бистро... то густо, то пусто... Сегодня, например, сидели мы вчетвером. Помните Адель, полное ее имя Адель Пигасс, такая косоглазенькая, она обычно стоит на углу нашей улицы... Живет она с ярмарочным борцом, с Жэном из Бордо, и он тоже с ней пришел... Потом явилась Гурд, толстуха, – у той особая клиентура, та больше по солдатам... Сели мы играть в карты, чинно-благородно, просто чтобы провести время... Сам не знаю почему, я вдруг сказал: «А адвокат славный малый. Он дал мне пропуск...» Потому что вас мы промеж себя зовем адвокатом. И тут Адель спрашивает, какой пропуск, не в суд ли... И просит, не могу ли я и ей тоже пропуск достать. Я отвечаю, что это, мол, очень трудно, потому что всем хочется попасть... Вот тут-то у нас вышла перепалка.

«Мог бы, – говорит, – позаботиться о друзьях».

«Взяла бы, – говорю, – да и попросила сама...»

«Уж если кому идти в суд, так не тебе, а мне...»

«Интересно знать, почему это?»

«Потому!»

Представляете? А игра идет!

«И ты бы встала в восемь часов, чтобы идти в суд?»

Я, конечно, очень удивился, потому и спросил.

«Ясно, встала бы!»

«Так она тебе и встанет, – заворчал Жэн. – Давайте играть, нельзя ли без разговорчиков?!»

«Раз я сказала, значит так я и сделала бы... Если бы я хотела получить пропуск, мне бы его скорее, чем кому другому, дали!»

«Интересно узнать, почему это?»

«Да еще в первом ряду!»

«Может, прямо с судьями сядешь?»

«Со свидетелями!»

«Во-первых, свидетели сидят не в первом ряду, а в соседней комнате. А во-вторых, какой из тебя свидетель...»

«Только потому, что не хочу свидетелем быть...»

«Потому что тебе сказать нечего».

«Да ладно, давайте играть...»

«Чего ты выдумываешь?!»

«Я? Я выдумываю?»

И пошло. Жэн на нее так странно глядит. Надо сказать, что Адель не ломака какая-нибудь. Кончили игру. Я поставил им по последнему стаканчику. Тут Адель объявляет:

«За здоровье убийцы!»

«А ты хоть знаешь убийцу?»

«Еще бы не знала!»

«Ну? Ну?»

Тут Гурд вздохнула:

«Неужели вы не видите, что Адель просто похвALEется?»

А я, сами понимаете, вот прямо чувствую, что Адель не такая, как всегда. И подзадориваю ее. Я-то знаю, как с ней надо обращаться. Сделал вид, что не верю.

«Конечно, я его знаю! Знаю даже, куда он закинул свой револьвер...»

«Куда?»

«Не скажу... Вечером, когда он уже не мог молчать...»

«Ты с ним спала, что ли?»

«Три раза...»

«А кто он?»

«Не скажу».

«Ему не скажешь, а мне скажешь!» – это Жэн говорит.

«А тебе и подавно».

Тут я сваял дурака. Уж больно разгорячился. Напомнил Адель, что она мне должна кругленькую сумму и еще что летом, когда ей нечего было есть, так я кормил ее сэндвичами и денег не брал...

«Если ты мне скажешь...»

«Не скажу!»

Хлоп! Это я не удержался и влепил ей пощечину! Крикнул, что глаза бы мои на нее не глядели, что она дрянь неблагодарная, что она... Мне так хотелось узнать, что я начал ее крыть, сам уж не помню, чего наговорил... И под конец выставил за дверь, а заодно и Жэна, потому что он встал на ее сторону... А ведь Жэн знает, что мне есть что про него рассказать... Ну,

словом, это уж другая история, и что Жэн наделал – это нас с вами не касается... Так вот оно и вышло!.. Остались мы с Гурд, сидим, смотрим друг на друга, и думаю я, правильно ли я сделал. Тут я решил, раз завтра эта штука начинается, может быть, вы еще не спите...

– Вам ее почерк известен? – спросил Лурса, открывая самую тощую папку.

– Не знаю, умеет ли она вообще писать. Подождите-ка. Ах да! Два раза она писала у меня письма в санаторий, где находился ее сын... У нее, видите ли, пятилетний сынишка в санатории... А вот почерка ее не знаю.

– Где она живет?

– Рядом со мной, в доме тетки Морю, у старухи во дворе четыре комнаты, и она сдает их по неделям.

Лурса подошел к стенному шкафу и украдкой, почти против воли, отхлебнул глоток рома.

А через четверть часа он уже следом за Джо входил в темный коридор покосившегося домишки. Посредине, на выщербленном полу коридора, стояла непросыхающая лужа. В мощеном дворе – ведра, помойные баки, белье, развешанное на проволоке.

Джо постучал в дверь. Внутри зашевелились. Сонный голос спросил:

– Кто там?

– Это я, Джо!.. Мне нужно срочно поговорить с Адель.

Отвечавший, должно быть, лежал в постели.

– Ее дома нет.

– Значит, она еще не возвращалась?

– Возвратилась и снова ушла.

– С Жэном?

– Откуда я знаю с кем?

Над их головой открылось окошко. Из него выглянула голова, особенно странная потому, что луна освещала только одну половину лица, – голова Гурд.

– По-моему, Жэн ждал ее в коридоре... Ты, Джо, здорово их напугал!..

– Мне нужно с ней поговорить, – негромко сказал Лурса.

– Скажи, а мы у тебя подождать не можем?

– Комната у меня не убрана...

Они поднялись по неосвещенной винтовой лестнице. Навстречу им вышла Гурд в пестром халатике с керосиновой лампой в руке.

– Простите, господин Лурса, что я вас так принимаю... У меня до вас гости были, дважды, ну и...

Она затолкала ногой под кровать эмалированное биде.

– Разрешите, я лягу? Здесь такой холодище...

– Я хочу задать вам один вопрос... Вы работаете примерно в том же районе, что и Адель... Может быть, вам известно, какие молодые люди ходили к ней?

– До или после?

У Лурса невольно вырвался вопрос:

– После чего?

– После Большого Луи! Словом, после всей этой истории! До, я знаю, к ней заходил месье Эдмон... И даже... Постойте-ка, вам я могу сказать... У него это было в первый раз... Он хотел сделать опыт... Кажется... Словом, трудно было, поняли?

– Ну и после?

– Вот не знаю... Она рассказала мне, что он даже ревел от злости и дал ей сто монет, только бы молчала.

– Вы никогда не видали ее с кем-нибудь другим?

– Подождите-ка... Дайте подумать... Нет! Ведь мы устраиваемся так, чтобы друг другу не мешать... Да и гости стараются проскользнуть незаметно...

– А вы не знаете, куда она могла уехать?

– Она ничего не сказала. Знаю только, что у нее в Париже есть замужняя сестра... Живет где-то около Обсерватуар... Она консьержка... Есть у нее и брат, он жандарм, но где – мне неизвестно...

Дюкупа разбудил ночью телефонный звонок, и он даже подскочил в постели. Потом позвонили комиссару полиции. Полицейских сняли с постов, их разослали повсюду, кого на мотоцикле, кого пешком. В три часа утра вышел из дому и сам комиссар Бине.

Этой ночью усиленные посты стояли у вокзала, у автобусных остановок, дожидаясь отправки первого утреннего автобуса, а во всех отелях у приезжих проверяли документы.

В восемь часов утра в суде открылись двери; у подъезда под ледяным небом ждали двести человек, напор которых еле сдерживали полицейские.

II

Это было неизбежно, однако он сердито насупил мохнатые брови: госпожа Маню ухитрилась пробраться в каморку, где под охраной двух жандармов сидел ее сын. И самое нелепое во всем этом было то, что Лурса почудилось как бы веяние первого причастия или свадебной церемонии. Все эти люди с покрасневшими от холода носами шагали, засунув руки в карманы, под ледяным ветром в одном и том же направлении как раз в тот час, когда зазвонили к мессе... Пропуска, которые полагалось предъявлять при входе, адвокаты в мантиях, сновавшие взад и вперед, хоть и без толку, но с важно-озабоченным видом... Наконец, сам Маню, во всем новом с головы до пят, в новой темно-синей паре, которую мать сочла более парадной, в новых лакированных туфлях, которые пахли магазином и поскрипывали на ходу... Уж не она ли собственноручно приладила ему галстук-бабочку в горошек?

И сама она тоже нарядилась, как на праздник, даже чуть-чуть надушилась. И плакала, не плача, – такая у нее была привычка. Она бросилась к адвокату, и он на мгновение испугался, что она прильнет головой к его груди.

– Доверяю вам его, господин Лурса! Доверяю вам все, что мне осталось в этом мире!

Ну ясно, ясно! Если бы дело затянулось еще хоть немного, если бы, например, встал вопрос о кассации, он непременно возненавидел бы ее всеми силами души. Слишком уж она хорошая! Всего в ней слишком: и скромности, и достоинства, и прекрасного воспитания, и чувствительности!

Но, с другой стороны, как же ее не жалеть? Она вдова. Она небогата. Она трудилась, чтобы воспитать сына. Подавала ему только самые лучшие примеры, и все-таки он здесь, на скамье подсудимых...

Ей следовало бы быть героиней трагедии, и действительно временами она была бесконечно трогательна, когда вдруг без всяких причин терялась, забывала, где она и что происходит вокруг, тоскливо озираясь, как заблудившийся в лабиринте города ребенок.

Лурса недолюбливал ее. Что поделаешь? Он был уверен, что Эмилю было тошно в их маленьком, слишком опрятном домике на улице Эрнест-Вуавенон.

– Вы надеетесь на благополучный исход, господин Лурса?

– Безусловно, мадам! Безусловно!

Началась суета. Каждый боялся что-нибудь забыть. Председатель суда, уже облаченный в красную мантию, время от времени приоткрывал дверь, ведущую в зал, стараясь определить, тепло там или нет, потому что все окна затянуло изморозью и в помещение проникал серо-стальной зимний свет.

Лурса заглянул в комнату для свидетелей и увидел Николь, со спокойно-благоразумным видом сидевшую на самом краешке скамейки.

Полиция еще не разыскала ни Адель Пигасс, ни Жэна из Бордо. У Дюкупа был скверный вид, красные, как у кролика, глаза, он вообще не мог похвастаться здоровьем, а после телефонного звонка Лурса так и не уснул до самого утра.

– Суд идет!

Лурса с развевающимися рукавами мантии пробирался к своему месту с такой свирепой физиономией, что казалось, будто он сейчас что-то глухо прорычит. Он положил перед собой девяносто семь желтых папок с чувством какого-то зловещего удовлетворения и поглядел в зал, поглядел на судей, на публику, ощущая трепет в каждой жилке.

Приступили к отбору присяжных.

– Нет отвода со стороны защиты?

– Отвода нет.

Джо Боксер был здесь и сидел в первом ряду с видом ближайшего родственника. Перешли к вызову свидетелей, но зал еще не утихомирился.

– Дело, которое мы рассматриваем сегодня, – печальным голосом объявил председатель, – весьма щекотливого свойства, и предупреждаю публику, что не потерплю никаких инцидентов и при малейшем шуме прикажу очистить зал.

Господин Никэ, вот как его зовут! Еще в те времена, когда был жив отец Лурса, господин Никэ посещал их дом. Пожалуй, ни у кого не было столько доброй воли, как у него. Ее было даже с избытком, и голубые, как у ангела, светлые глаза господина Никэ призывали всех в свидетели его благородных усилий.

К несчастью, у него имелся подбородок, необыкновенный подбородок, и рот тоже не как у всех. Подбородок был равен по объему всей остальной физиономии и к тому же какой-то неестественно плоский, а вечно полуоткрытый рот шел от уха до уха. Это было уже настоящим физическим недостатком, потому что, когда господин Никэ задумывался или печалился, люди, не знавшие его, могли подумать, будто он смеется, смеется сардоническим, если не идиотским, смехом.

– Предупреждаю господ присяжных, что прокурор отвел одного из главных свидетелей обвинения – Гектора Лурса де Сен-Мара, чтобы он мог выступить в качестве защитника подсудимого. Впрочем, его свидетельские показания фактически бесполезны, ибо подсудимый не отрицает тех показаний, которые в начале следствия дал господин Лурса де Сен-Мар...

Все взгляды обратились к адвокату, и он, как медведь в зоологическом саду, медленно повернулся к публике, словно почуял, что она сгорает от любопытства.

А Эмиль, сидевший на скамье подсудимых между двух жандармов в своем синем костюме, с галстуком-бабочкой в белый горошек, и впрямь походил на первопричастника, во всяком случае выглядел непростительно молодым; иногда, набравшись храбрости, которую, казалось, он черпал где-то на полу, куда упорно были устремлены его глаза, он бросал тоскливо испуганный взгляд на толпу, выискивая знакомые лица.

В зале было холодно, несмотря на скопление людей, и, так как заседания суда должны были продлиться по меньшей мере дня три, председатель мимоходом пообещал присяжным, что он сам лично проследит за тем, чтобы в помещении установили временную печку.

Чтение обвинительного акта. Допрос Эмиля, который отвечал односложными фразами, не спуская глаз со своего адвоката.

Потом весь ошетинившийся Лурса.

– Господин председатель, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами я вынужден просить суд отложить судебное заседание. Одна женщина сегодня ночью заявила, что ей известен убийца Большого Луи.

– Где эта женщина?

– Полиция ее сейчас ищет. Я прошу, чтобы любыми средствами ей был вручен вызов в суд, а пока что...

Начались бесконечные прения. Посоветовались с Рожиссаром, и тот велел вызвать Дюкупа.

– Разумеется, поиски будут продолжать, и девица по имени Адель Пигасс будет доставлена сюда в ближайшее время. Таким образом, ничто не помешает начать допрос остальных девяносто семи свидетелей... Введите первого свидетеля!

Первым вышел Дюкуп, который в течение часа с четвертью подробно докладывал о ходе следствия.

«Восемнадцать лет. Уже замечен в мелких кражах у своих первых хозяев... Склонен к одиночеству, характер обидчивый... До того дня, когда он вступил в группу „Боксинг-бар“, эта группа не привлекала к себе ничего внимания... Он напивается... Из бахвальства угоняет машину у почтенного человека... Ибо Маню непомерно тщеславен, недоволен жизнью, словом, такие становятся бунтарями... Обычные развлечения, которым предаются юноши его лет, кажутся Маню менее увлекательными, чем перспектива втереться – и через черный ход! – в аристократический дом, о чем он давно мечтал...»

Дюкуп резал, как остро отточенный перочинный нож, поджимал губы, время от времени поворачивался к Лурса.

«...Его ответы, его поведение продиктованы той же гордыней, даже притворная попытка покончить с собой в момент ареста не что иное, как желание вызвать интерес к своей особе...»

Лурса невольно взглянул на Эмиля Маню, и на губах у него промелькнула неопределенная улыбка.

Все это правда, он сам это почуял! Мальчишку грызет сознание своей неполноценности...

Однажды, когда Лурса отправился на улицу Эрнест-Вуавенон побеседовать с госпожой Маню, Эмиль при их встрече спросил адвоката, горько усмехнувшись:

– Она показывала вам акварели? Наш дом забит ими сверху донизу... Это было увлечением моего отца... Все вечера, все воскресные дни он разрисовывал почтовые открытки...

Помолчав немного, он, очевидно, почувствовал потребность пояснить свои слова:

– В моей спальне есть умывальник – таз и кувшин, расписанные розовыми цветами... Только я не имею права ими пользоваться – вдруг разобью... И, кроме того, при мытье летят брызги... Словом, я поставил на белый деревянный столик простой эмалированный таз и положил на пол кусочек линолеума.

Все причиняло ему страдания: и купленный по дешевке плащ мерзкого цвета, и туфли, к которым уже раза два-три подбивали подметки, и тон матери, невольная почтительность, с какой она говорила о богатых людях и о молоденьких девушках, своих ученицах.

Он страдал, обслуживая у Жоржа бывших своих школьных товарищей, страдал, когда каждое утро приходилось обметать метелочкой пыль с книжных полок.

Страдал, что сидел взаперти в магазине с утра до вечера, страдал, так как жизнь текла мимо и он наблюдал ее лишь сквозь витрину.

Страдал, видя, как в одиннадцать часов юноши вроде Эдмона Доссена с учебниками под мышкой возвращались с занятий и, прежде чем отправиться завтракать, раз пять-шесть пробегали по улице Алье.

А ведь приходилось еще работать рассыльным, шагать по всему городу с огромными пачками книг, звонить у дверей клиентов господина Жоржа, и слуги иногда давали ему на чай!

Дюкуп сказал не все. Ему неизвестны были эти подробности.

«Бунтарь... Обидчивый...»

И этого хватало! И еще одно замечание, отягчающее вину: «А ведь он имел перед собой только добрые примеры...»

Лурса поискал глазами глаза Эмиля. Ну конечно, только добрые примеры! Как же иначе, черт побери!.. Достаточно поглядеть на портрет его отца, такого кроткого, такого всем довольного, хотя багровый румянец на скулах и узкие плечи выдавали его неизлечимый недуг.

Чертежник на заводе Доссена, выпускающем сельскохозяйственные машины, он величал себя: «Начальник технической службы». Родом он был из Капестана. Отец его умер, осталась только мать.

Когда отец Эмиля скончался, пришлось, как и прежде, высылать старой госпоже Маню на жизнь двести франков в месяц, и старушка писала на своих визитных карточках: «Эмилия Маню, из Капестана, живет на ренту».

А разве мать Эмиля не велела выгравировать на медной дощечке: «Преподавательница музыки», хотя не имела диплома и могла дать детям лишь первоначальные навыки игры на пианино и самые поверхностные знания молоденьким девушкам, глубоко равнодушным к музыке!

А их бифштексы! Эмиль как-то раз намекнул на эти самые бифштексы: крохотные, тонюсенькие кусочки мяса... Сопровождаемые к тому же традиционной фразой: «Ешь, тебе нужно набираться сил...»

Что тут мог понять Дюкуп? Да и все сидящие в зале.

«Следствием установлено, что вплоть до нынешней осени Эмиль Маню имел только одного друга, вернее, приятеля – Жюстена Люска, сына торговца, который работает как раз напротив книжной лавки Жоржа, где служит Маню... Они вместе учились в городской школе... Следует заметить, что Маню считался прекрасным учеником, легко усваивал все предметы, всегда имел отличные отметки... Люска же по причине его рыжей шевелюры, его фамилии, его настоящего имени Эфраим и восточного происхождения отца травили одноклассники...

Два мальчика, два различных уже в ту пору темперамента... Люска, кроткий, терпеливый, молча сносил насмешки, даже самые грубые, если не жестокие...»

И это правда! Только Дюкуп, разумеется, опять ничего не понял! А правда в том, что Люска, стремясь постигнуть тайны коммерции, нанялся продавцом в «Магазин стандартных цен», торговал, нисколько этим не стесняясь, прямо на тротуаре, был, как говорится, зазывалой; а ведь это еще более унижительная и трудная работа.

Одевался он плохо, но не обращал на это внимания. Ему говорили, что от него воняет совсем как в лавке его папаша, и он не спорил. Владельцы «Магазина стандартных цен» запрещали своим уличным продавцам носить пальто, что, по их мнению, придавало бы молодым людям вид жертв, и им приходилось зимой поддевать под пиджак два свитера.

«Нам удалось установить, что именно Маню настаивал, чтобы его товарищ ввел его в вышеуказанную группу молодых людей, которых можно было бы назвать, правда не без романтического преувеличения, „золотой молодежью“ нашего города... В тот вечер шел дождь, и в восемь часов тридцать минут Маню ждал Люска под большими часами, служившими вывеской господину Трюфье на улице Алье... Люска пришел с запозданием, так как у его матери, что случалось нередко, начался сердечный припадок...

Молодые люди направились в „Боксинг-бар“, где должны были встретиться с членами группы, ибо именно в этом баре происходили их сборища...»

Лурса, который, казалось, задремал под звук голоса следователя, медленно поднял голову, так как Дюкуп перешел к самому щекотливому пункту.

«Поскольку жалоб не поступало, поскольку никакого ощутимого вреда вышеупомянутая группа не причиняла, следствие не сочло необходимым останавливаться на некоторых поступках и действиях ее членов... Допустим, что эти молодые люди подверглись тлетворным современным веяниям, что на них оказали пагубное влияние известная литература, фильмы, некоторые примеры, бороться с которыми у них не хватало моральных сил...»

И Дюкуп закончил мысль, гордясь своей утонченностью: «Мы не помним той эпохи, когда романтизм требовал, чтобы молодые люди были непременно больны чахоткой... Самые пожилые из нас еще помнят те времена, когда идеалом молодежи был кавалерийский офицер, потом уже почти на нашей памяти пришла эпоха „прожигателей жизни“, „клубменов“. А сейчас мы живем в эпоху гангстеризма, и не следует удивляться тому, что...»

Лурса не мог отказать себе в удовольствии буркнуть в бороду:

– Болван!

Слишком это было легко! Было это и верно, и неверно! Впрочем, один только он знал это, один он, неповоротливый, тяжеловесный, чудовищно реальный среди всей этой нежити.

Сегодня утром он не выпил ни капли. Он ждал перерыва, чтобы сбегать в бистро напротив суда и залпом проглотить два-три стакана красного вина; время от времени он впустую растревал свое презрение и злобу, и отсюда, как ему казалось, шла горечь, та, что мучила его по утрам.

Когда он сам был молод, он вряд ли даже знал о существовании таких юношей, как Эмиль Маню, бедных, нетерпеливых, стесненных в каждом своем движении.

Да и замечал ли он вообще хоть что-нибудь? Он жил как в трагедии, среди накала благородных чувств, и когда полюбил, то полюбил всем своим существом, так что уже не оставалось места ни для сомнений, ни для мелочных расчетов.

Не удивительно ли, что он думает о таких вещах здесь, в этом зале, который существовал уже в те времена и видел целую череду подобных дел?

А он вот ничего не видел! Город и тогда был такой, как сейчас, так, видно, Мулену на роду написано, – с Рожиссарами, с Дюкупами, с Мартой, с элегантным уже и тогда Доссеном, с подозрительными кварталами, с барами вроде «Боксинга», с мелькающими женскими тенями на тротуарах.

А он, Лурса, жил в некоем идеальном мире, где было поровну науки и любви. Или, вернее...

Он любил! Чего там! Любил всей душой, самыми потаенными ее уголками. А раз так, какая надобность выказывать свою любовь, зачем это внешнее, всегда смехотворное, проявление чувств?

Он целовал жену и запирался в своем кабинете, виделся с ней за обедом. Она ждала ребенка, и он был счастлив. У него родилась дочь, и три-четыре раза в день он заглядывал в детскую.

Если пользоваться языком Дюкупа, то была «традиционная» эпоха. Сам город был ясен и прост, как будто его построил ребенок из детского «Конструктора». Суд, префектура, мэрия и церковь! Судьи, адвокаты! Крупная буржуазия, а внизу люди, которых он не знал, которые отправляются поутру в контору или в магазин, затем торговцы, которые с грохотом открывают на заре ставни лавок.

Эта эпоха для него лично кончилась на следующий день после бегства Женевиевы с Бернаром!

И вместо того чтобы кричать и стенать, он стер все одним махом, как стирают мел с грифельной доски.

Кругом одни дураки! Целый город дураков, ничтожных людей, которые не знают даже, зачем живут на белом свете, и которые тупо шагают вперед, как быки в ярме, позвякивая кто бубенчиком, кто колокольчиком, привешенным к шее.

Город стал лишь декорацией, лепившейся вокруг небольшого логова, которое он населил своей собственной жизнью, своими запахами, своим презрением к роду человеческому; его кабинет – и за стенами кабинета как бы ничья земля, по man's Land, дом, постепенно пришедший в упадок, где росла маленькая девочка, ничуть его не интересовавшая...

Судьи? Болваны! И к тому же в большинстве роконосы!

Адвокаты? Тоже болваны, а некоторые просто сволочи!

Все до одного!

Доссены, которые положили жизнь на то, чтобы их дом был самым красивым в городе, и Марта, которая ввела в моду дворецких в белых перчатках, хотя они перевелись в городе еще задолго до войны.

Рожиссар, который ездит по святым местам в надежде, что умолит небеса послать ему ребенка – разумеется, длинного, тощего младенца, как он сам и его супруга.

Дюкуп, который рано или поздно станет важной персоной, ибо делает все, что для этого нужно.

Добрая печурка, красное, темно-красное вино и книги, все книги на свете. Таков был мир Лурса. Он знал все! Он все прочел! Он имел право насмехаться над людьми, сидя один в своем углу.

– Сборище болванов!

Он охотно добавлял:

– Зловредных болванов!

И вот, словно пламя пожара охватило дом, и там обнаружился целый выводок мальчишек...

Потом по их следам он стал бегать по городу...

Он открывал людей, запахи, звуки, магазины, свет, чувства – людскую магму с ее кишечником, жизнь, отнюдь не похожую на трагедию, и охваченных страстями дураков, неожиданные, непонятные взаимоотношения между людьми и вещами, сквозняки на перекрестках и запоздалого прохожего, лавочку, которая бог знает почему еще не закрыта ночью, нервного молодого человека, ожидающего под большими часами, знакомыми всему городу, своего приятеля, чтобы тот повел его навстречу будущему...

Время от времени он с ворчанием шевелился, и все глаза обращались к нему, и в первую очередь глаза Дюкупа, который боялся потерять нить, хотя выдолбил свою речь наизусть.

Никто не понимал, что он, Лурса, делает здесь, ибо, по общему мнению, он должен был бы, воспользовавшись благовидным предлогом, уехать путешествовать или сказаться тяжелобольным. Сестра ему прямо об этом заявила. Она-то ведь больна. И ее сын болен, и так серьезно, что ему необходим швейцарский климат.

Сам Доссен тоже приходил к Лурса, и Рожиссар разговаривал с Лурса не только на правах родственника, но и как лицо официальное.

По сути дела, он, сидевший сейчас на скамье защиты, он сам почти подсудимый. Что он будет делать, когда речь пойдет о его собственной дочери?

Ибо речь о ней рано или поздно пойдет. Дюкуп уже подбирался к этой теме маленькими зигзагообразными ходами.

«...Все свидетельствуют о том, что молодые люди были скорее неосторожны, чем злонамеренны, что после несчастного случая, происшедшего по вине Эмиля Маню, они ни на минуту не собирались бросить раненого на дороге, хотя положение для них создавалось угрожающее... К несчастью, и тут мы не можем сказать ничего в пользу подсудимого, которого, по его собственному признанию, в этот момент тошнило где-то на обочине дороги и который ни в чем не отдавал себе отчета...

Мадемуазель Лурса делом доказала свое самообладание и мягкосердечие. Она дала согласие принять раненого у себя в доме...»

А его, Лурса, подмывало выкрикнуть наподобие одного маньяка, которого он видел на каком-то митинге, куда случайно попал: «Неправда!»

И если он не сказал этого вслух, то его презрительная поза была достаточно красноречива.

Неправда это! Все неправда! Не мягкосердечие и даже не самообладание! Ибо теперь он знал цену этому самообладанию, которое все приписывали его дочери. Он знал теперь, что приходит оно к ней на помощь именно в минуты наибольшей растерянности.

Правда прежде всего в том, что все они были пьяны. Он расспрашивал каждого по очереди... И каждый лишь с трудом мог припомнить, что делали другие. Шел дождь, видимость была плохая. Они даже не знали в точности, что произошло. «Дворники» продолжали двигаться по стеклу. Эмилю показалось, будто он увидел кровь, он вцепился в ствол дерева, и его начало рвать.

Навстречу им проехал автомобиль, и, так как их машина стояла посреди дороги, шофер крикнул им:

– Идиоты!

Большой Луи зашевелился. Тогда они еще не знали, кого сшибли; но как раз при красном свете задних фар они увидели какого-то человека, он задвигался, присел на корточки, пытаясь встать, половина лица его была залита кровью, глаза блуждали, а одна нога странно откинута.

– Не уезжайте! – раздался голос. – Не смейте уезжать! Помогите мне...

Правдой было то, что если они подошли к нему, то лишь для того, чтобы заставить его замолчать.

– Загубили меня, гады! – простонал тот. – Теперь везите меня куда-нибудь... Только не в больницу... И только не в полицию, слышите?! Кто вы такие? Дерьмо! Сосунки!

Вот что было в действительности! Он сам ими командовал. Дайа, колбасник, потащил его к машине с помощью Детриво, который держал раненого за ноги и то и дело ронял очки. О Маню все забыли. Он свалился под дерево, и его тоже пришлось нести, вталкивать в машину, мокрого, грязного.

Сейчас, во время допроса Николь, они узнают все! Она не говорила о своем мягкосердечии. Она просто ответила на вопрос:

– ...Это он! Это он велел нам пойти за доктором, но не велел ничего сообщать в полицию. Эдмон уже заметил у него татуировку.

– А кто пошел за доктором?

– Мы решили, пусть идет Эдмон, потому что он знаком с врачом...

Они выслушают также и доктора Матре. Его свидетельские показания здесь, в папке № 17.

«Сначала я решил, что при раненом находятся только мадемуазель Николь и ее двоюродный брат Доссен. Потом я заметил, что дверь соседней комнаты полуоткрыта. И только под конец я обнаружил, что там находится целая группа молодых людей, которые умирали от волнения и страха. Один из них лежал прямо на полу, и я посоветовал дать ему выспаться, потому что он был сильно пьян...»

Бедняга Матре, который пользовал лучшие семьи города и у которого был торжественно-благородный вид героев Жюль Верна!

«Мне хотелось установить поведение каждого из них в течение этой ночи», – продолжал Дюкуп, у него совсем застыли руки, и время от времени он щелкал пальцами, желая их согреть.

Неправда! Этого потребовал он, Лурса!

«Мадемуазель Лурса выказала исключительное мужество и, по словам доктора Матре, вела себя как настоящая сиделка...»

Черта с два! В подобных обстоятельствах Николь продолжает жить по инерции, машинально, что и позволяет ей сохранять видимость спокойствия.

«Эдмон Доссен, будучи весьма встревожен, попросил совета у врача, которого тот не мог ему дать... Он сам сейчас об этом скажет...»

Что скажет? Что это, мол, не его вина. Что он готов был уплатить стоимость содержания раненого в больнице. Что предлагал просить за Большого Луи одного депутата, друга своего отца...

И наконец, Детриво, который то и дело терял очки, видел всю эту сцену своими близорукими глазами и судил о ней своей жалкой головой!

Пусть кто-нибудь спросит Лурса: «А вы действительно ничего не слышали?»

Он даже не будет ссылаться на то, что у них длинные коридоры, лестницы, что в доме два крыла; он скажет: «Я был пьян, господа!»

Что тоже не совсем правда. Он был таким же, как и все прочие вечера, когда его засасывало одиночество, — разомлевший, вялый, неуклюжий.

Присяжные старались придать себе равнодушный и серьезный вид, потому что в зале каждого было много знакомых. Публика ждала конца выступления Дюкупа и выхода главных актеров. Иногда кто-нибудь потихоньку подходил, шептал два слова на ухо Рожиссару, который сидел в прокурорском кресле, поставив перед собой коробочку с мятными лепешками.

Все эти появления означали: «Еще не нашли!»

Не нашли девицу Пигасс! Ибо здесь Адель превратилась в девицу Пигасс!

Взгляд Рожиссара в сторону Лурса: «Нет... Ничего нового... Еще нет... Очень сожалею».

У Дюкупа пересохло во рту, и говорил он уже не так гладко. Со своего места ему не видно было Лурса, но и на расстоянии чувствовал он его собранную в кулак волю и мефистофельскую ухмылку.

«Именно этой ночью, в четыре часа утра, подсудимый завязал отношения с мадемуазель Лурса, которая ухаживала за ним так же, как и за раненым...»

Они сделали буквально все, лишь бы избавить Лурса от позора. Умоляли не появляться в суде — не только ради него самого, но и ради всей семьи, ради его коллег адвокатов, ради всех тех, что в Мулэне считаются порядочными людьми!

А он предпочел выставить себя на всеобщее обозрение!.. Если бы они еще знали, чему он улыбнулся именно в эту минуту... Да тому, что, собираясь в суд нынче утром, он чуть было не поддался искушению и не сбрил бороду! Вот была бы комедия! Явился бы перед ними свежесвыбритый, с аккуратно расчесанной шевелюрой, в крахмальном безукоризненном воротничке!

«Восемнадцатого октября, во время третьего допроса, обвиняемый сообщил нам, что через посредство своего приятеля Люска вошел в чужую ему среду и что его побудила к этому любовь к мадемуазель Лурса... Таким образом, пытаюсь объяснить свое поведение той ночью, он уверяет, что, проснувшись и чувствуя себя еще больным, он пустился в длинное страстное объяснение...

Мадемуазель Лурса со своей стороны заявила нам:

— Ему было стыдно за все происшедшее и за испачканную одежду... Он умолял меня его простить. Он был очень взволнован... Признался, что хотел только одного — ближе познакомиться со мной...»

Дюкуп, так же как и свидетели, не имел права пользоваться написанным материалом. Поэтому он временами закрывал глаза, стараясь точно вспомнить заранее приготовленную фразу, какую-нибудь свою отметку, документ.

«Установлено, что в дальнейшем Маню бывал в доме так часто, как только позволяли обстоятельства. Я не беру на себя смелость утверждать, что он цинично воспользовался этим происшествием, которое послужило прекрасным извинением его частых визитов...

Однако...»

Неправда! Никогда Дюкупу не было восемнадцати лет, никогда он не знал, что такое любовь и наваждение, от которых спирает в груди! Да и сам Лурса тоже. Но Лурса все-таки удалось вдохнуть аромат чужих восемнадцати лет!

«Начиная с этого времени он приходит каждый вечер, вернее было бы сказать – каждую ночь, и иногда возвращается домой к матери не раньше трех часов утра... Он пробирался, как вор, через черный ход, выходящий в тупик...»

Неправда! Вовсе не как вор!

Лурса минутами был так далек от этого судилища, что несколько раз совал руку в карман за сигаретами, готов был зажечь спичку.

«На мои вопросы о его отношениях с мадемуазель Лурса он цинично ответил:

– Я не намерен сообщать подробности моей личной жизни...

Однако он не отрицал, что воспользовался интимностью, которая неизбежно создалась в результате этой драмы, и что часто пробирался в спальню к молодой девушке».

Лурса предупреждали: «Вы сделаете задачу суда еще более трудной, чем она есть... Ваше присутствие наверняка вызовет скандал!»

И в самом деле, вся публика глядела на него, и он глядел на нее своими большими глазами, самодовольно усмехаясь в бороду.

– При малейшем нарушении порядка я прикажу очистить зал! – крикнул председатель, когда в зале поднялся шум и шепот любопытства.

А Дюкуп, у которого горело лицо и мерзли руки, продолжал: «Спустя двенадцать дней разразилась драма... Установить, чем были эти двенадцать дней для обычных посетителей дома, и являлось задачей следствия...»

Для Лурса все было много проще! Его печурка! Его бургундское! Книги, которые он наудачу снимал с полки, прочитывал три или пятьдесят страниц, стакан, куда он подливал вино, и этот добрый теплый дух, который, казалось, исходил от него самого, сливался с ним, его он вдыхал, засыпая.

«Переходя к вопросу об отношениях между обвиняемым и мадемуазель Лурса, бесполезно...»

Верно! Верно! Они были любовниками! Если уж говорить точно, стали ими на третий же день! И с тех пор пошло! Эмиль любил ее страстно, лихорадочно, с гордостью и даже с каким-то отчаянием. А Николь, надо полагать, покорило это неистовство чувств.

Они любили друг друга. Они способны были сжечь дотла весь город, если город восстанет против их любви.

Прочие, те, что способствовали их встречам, сами того не зная – все эти Эдмоны, Дайа, Детриво, Люска и сын генерального советника Груэн, – были лишь простыми статистами, стесняющимися фигурантами.

Еще более стесняющими, чем Большой Луи, который имел в их глазах хотя бы то преимущество, что служил как бы алиби, извинением, поводом для частых визитов Эмиля...

Началось все это с такой сильной и острой ноты – именно из-за драмы, автомашины, крови, – что любовь сразу же достигла своего пароксизма...

А этот Дюкуп с его бледной мордочкой режет перед судьями эти чувства на тоненькие ломтики.

Впереди и чуть слева от Дюкупа в прокурорском кресле сидел Рожиссар, направо – особенно беспокоивший, хоть и невидимый ему Лурса, а напротив маячила гигантская пасть председателя Никэ, который делал все, что мог, и даже записывал что-то...

«Подхожу к трагической ночи и...»

Лурса почувствовал неодолимую жажду. Он приподнялся, протянул руку жестом школьника, просящегося по малой нужде, и прогремел:

– Предлагаю сделать перерыв...

Конец его фразы заглушили шаги, грохот стульев и скамеек.

III

После перерыва каждый не без удовольствия вернулся на уже обжитое место. Публика переглядывалась. Люди кивали друг другу вежливо или заговорщически лукаво, а председатель Никэ был непомерно горд тем, что за такой рекордно короткий срок в зале успели воздвигнуть монументальную печь и даже вывели в окно трубу. Правда, печка немного дымила, но можно считать, что дымит она потому, что ее только что разожгли.

Словом, каждый устраивался с комфортом, врал в процесс.

– Если защита не возражает, мы решили первым заслушать свидетеля Детриво, так как ему надо немедленно возвращаться в полк...

Детриво пробирался на свидетельское место, на каждом шагу прося прощения у тех, кого он потревожил; людей набралось множество, и адвокаты стояли во всех проходах.

Председатель был явно доволен и раскрывал рот еще шире, еще страшнее, чем обычно. Он оглядел присяжных, своих помощников, прокурора на прокурорском месте с таким видом, будто перед ним сидели его самые лучшие друзья, и, казалось, всем своим видом говорил: «Признайтесь, что все идет неплохо! Особенно с тех пор, когда поставили печку...»

А вслух он произнес отеческим тоном, обращаясь к Детриво:

– Не робейте, приблизьтесь...

В суконных штанах защитного цвета могли бы поместиться три таких зада, как у бывшего банковского служащего, а ремень, затянутый слишком высоко, заминал гимнастерку глубокими складками и перерезал талию так, что молодой человек походил на детскую игрушку «дьяболо».

– Повернитесь к господам присяжным... Вы не родственник подсудимого, не состоите у него в услужении? Поклянитесь говорить правду, одну только правду... Подымите правую руку...

Лурса невольно улынулся. Он глядел на Эмиля Маню, а тот, не замечая, что за ним наблюдают, буквально обмер при виде своего бывшего приятеля. В эту минуту в глубине зала началась суматоха. Детриво-отец закрыл руками лицо, зарыдал и в этой театральной позе, долженствующей выразить стыд и отчаяние, стал пробираться к выходу, не в силах вынести трагическое зрелище.

Толпа, пропустив его, сомкнулась, председатель заглянул в дело:

– Итак... Вы были приятелем Эмиля Маню... Вы были в их группе в ночь, когда произошел несчастный случай?

– Да, господин председатель...

Вот уж кого не надо учить, как отвечать судьям! Ни твердить ему, что свидетель должен держаться просто и скромно!

– Итак!.. – (Без этого «итак» господин Никэ затруднялся начать фразу.) – Итак, вы знали подсудимого до этого памятного вечера?

– Только с виду, господин председатель.

– Итак, только с виду! Если не ошибаюсь, вы живете на одной улице? Значит, вы не были ни друзьями, ни даже приятелями?

Казалось, председатель сделал сногшибательное открытие, с таким ликующим видом продолжал он допрос:

– Итак, поскольку вы оба работали в центре города, разве не случалось вам выходить из дому в один и тот же час?

– Я ездил на велосипеде, господин председатель.

– На велосипеде!.. Но ведь у вас не было никаких моральных или иных причин не встречаться с Эмилем Маню?

– Нет... Почему же...

– Какое впечатление произвел на вас обвиняемый, когда вы познакомились с ним в «Бок-синг-баре»?

– Никакого, господин председатель.

– Он не показался вам робким?

– Нет, господин председатель.

– Итак, вы ничего особенного в нем не заметили?

– Он не умел играть в карты...

– А вы его научили? Какой же вы его научили игре?

– Экарте. Его учил Эдмон и выиграл у него пятьдесят франков...

– Вашему другу Эдмону, очевидно, очень везло?

И свидетель простодушно ответил, но тут же сбился, смущенный реакцией публики:

– Он передергивал.

Впервые после перерыва послышался смех публики, и с этой минуты она пришла в самое благодушное настроение.

– Ах так! Передергивал! А часто он передергивал?

– Всегда. И не скрывал этого.

– И вы все-таки играли с ним?

– Мы хотели разгадать его трюки...

Рожиссар и сидевший слева от него помощник прокурора переглянулись, ибо помощник этот славился по всему Мулэну карточными фокусами. А председатель тщетно пытался угадать, что за молчаливый диалог происходит за его спиной.

– Полагаю, что вы много выпили в тот вечер?

– Как и всегда.

– То есть? Сколько приблизительно?

– Пять или шесть рюмок.

– Чего?

– Коньяку с перно...

Новый взрыв смеха волной прошел по залу и затих в глубине. Один только Эмиль не улыбнулся, он слушал, уперев подбородок в сложенные на барьере руки и не спуская глаз с приятеля.

– Кто предложил отправиться в «Харчевню утопленников»?

– Не помню.

Но Эмиль Маню вдруг зашевелился, что явно означало: «Лгун!»

– Это подсудимый первый заговорил о том, что надо... ну, скажем, взять на время машину? Итак... Каким образом вы устраивались в другое время?

– Дайя возил нас на грузовике своего отца. А в этот вечер на грузовике поехали в Невер за свиньями...

– Так что Маню счел нужным угнать первую попавшуюся машину?

– Возможно, его подбили на это...

– Кто подбил?

– Все понемногу...

Детриво хотелось быть по-настоящему честным. Он и старался быть таким. Сам чувствовал, что трусит, что ему следовало бы сказать: «Мы стали над новичком насмехаться. Заставляли его пить. Дразнили, что ему не угнать машину...»

– Короче, подсудимый довез вас до «Харчевни утопленников». А что произошло там?

– Там мы пили белое вино... У них ничего другого не было, только белое вино и пиво...

Потом танцевали...

– Маню тоже танцевал? С кем?

– С Николь.

– Если не ошибаюсь, в этой харчевне с таким странным названием были еще две девушки – Ева и Клара. Что вы с ними делали?

Вопрос был смелый, и председатель ужасно возгордился, что его задал, но и перепугался.

– Так просто, дурачились...

– И ничего больше?

– Я лично, во всяком случае, ничего больше себе не позволил.

– А ваши приятели?

– Не знаю... Я не видел, чтобы кто-нибудь подымался наверх...

Снова смех, улыбки; только Эмиль и Детриво не усмотрели в этих словах ничего особенного. Это был их язык, и они говорили о хорошо знакомых им вещах.

– Итак, я не буду просить вас рассказывать о самом инциденте, о котором нам исчерпывающим образом сообщил нынче утром господин следователь. Полагаю, что вы часто бывали у мадемуазель Лурса?

– Да, часто.

– Пили и танцевали? А вы не боялись, что вас застигнет на месте отец этой девушки?

Самое любопытное было то, что Детриво поглядел на Эмиля, как бы спрашивая у него совета: «Что отвечать?»

А председатель продолжал:

– Пойдем дальше! Присутствие Большого Луи в доме внесло изменения в привычки вашей группы?

– Мы боялись.

– Ага! Боялись! Боялись, разумеется, того, что Большой Луи устроит скандал?

– Нет... Да... Мы его боялись!

Лурса глубоко вздохнул. Болван несчастный этот председатель! Совсем ничего не понимает! Разве сам он не помнит своих детских страхов? Мальчишки играли в гангстеров, и вот в их компанию затесался настоящий гангстер, здоровая скотина с татуировкой, он и в тюрьме сидел, и, возможно, совершил не одно преступление!..

Большой Луи пользовался этим, разрази тебя гром! Он им такого про себя нарасказал, чего и не бывало! А они, фанфароны, хвастались перед ним своими мелкими кражами!

– Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать, так как это очень важно. Возникал ли у вас вопрос о том, чтобы отделаться от Большого Луи и каким способом отделаться?... Я спрашиваю, говорили ли вы об этом на ваших сборищах, или, может быть, дома, или в «Боксинг-баре», или еще где-нибудь?

– Да, господин председатель.

– А кто говорил?

– Не помню. Просто говорили, что он будет всю жизнь нас шантажировать, что в нашем лице он напал на золотую жилу, что он вечно будет требовать от нас денег...

– А говорили о том, что его надо убить?

– Да, господин председатель.

– Так-таки хладнокровно обсуждали этот вопрос?

Да нет, вовсе не хладнокровно! Лурса энергично задвигался на скамейке. Все это бесполезно, раз никто не желает вникнуть в разговоры и лексикон этих мальчишек! Если они даже обсуждали план убийства в мельчайших подробностях, все равно это ничего не значило! Они выдумывали разные драмы просто для забавы, вот и все!

– Мэтр Лурса... Вы хотите задать вопрос свидетелю?

Он, очевидно, заметил, что Лурса ерзает на скамье.

– Да, господин председатель... Мне хотелось бы, чтобы вы спросили, кто из них, кроме Маню, был влюблен в Николь!

– Свидетель, слышали вопрос? Прошу вас, не смущайтесь. Я понимаю, что создалось не совсем обычное положение, но вы должны видеть в мэтре Лурса только защитника подсудимого. Отвечайте.

– Не знаю.

– Разрешите, господин председатель? До появления Маню кто был обычным кавалером Николь?

– Эдмон Доссен...

– Другими словами, он старался прослыть ее любовником, а на деле им не был, не так ли? Это, в сущности, входило в игру! Но был ли еще кто-нибудь влюблен, по-настоящему влюблен в Николь?

– Думаю, что Люска...

– Делал ли он вам соответствующие признания?

– Нет! Он вообще неразговорчив...

– Ваша шайка распалась оттого, что произошел несчастный случай и в доме лежал раненый?

Детриво молчал, а Лурса добавил:

– А может быть, скорее из-за того, что у Николь появился настоящий любовник?

В глубине зала началась толкотня, так как задним тоже хотелось видеть. Детриво не знал, что ответить, и опустил голову.

– Всё, господин председатель.

– Больше вопросов нет? Господин прокурор?

– Вопросы больше нет!

– Никто не возражает, если свидетель отправится в свой гарнизон? Благодарю вас.

Все заранее знали, что рано или поздно придется коснуться таких вопросов, но господин председатель все-таки почувствовал, что его начинает лихорадить.

– Введите мадемуазель Николь Лурса... Прошу прощения, господин адвокат.

Вместо того чтобы постараться стать как можно незаметнее, Лурса еще больше раздулся!

– Клянись говорить только правду, одну только правду. Подымите правую руку, скажите: клянусь. Вы заявили полиции, а потом на следствии, что вечером седьмого октября подсудимый находился в вашей спальне...

– Да, господин председатель.

Николь смотрела на него любезно, просто, с великолепным самообладанием.

– Поднимались ли вы вдвоем навестить раненого?

– Нет, господин председатель. Я ходила к нему одна в девять часов, относила ему ужин.

– Следовательно, посещения Маню не были связаны с уходом за Большим Луи?

– Нет, господин председатель.

– Хорошо, на ответе не настаиваю... В этот вечер вы не ждали никого из ваших приятелей?

– Никого! Они уже несколько дней ко мне не приходили.

– И вам известно, почему не приходили?

– Потому что знали, что мы предпочитаем быть одни.

Присутствующие наблюдали за Лурса, пожалуй, еще с большим любопытством, чем за Николь, и Лурса внезапно захотелось им улыбнуться.

– В котором часу Эмиль ушел от вас?

– Около полуночи. Я настояла, чтобы он вернулся домой пораньше и лег спать, так как у него был усталый вид.

– И это вы называете рано ложиться?

– Обычно он уходил в два-три часа ночи...

Рожиссар вертел в пальцах карандашик и разглядывал его с бесконечным интересом.

– Вы говорили о Большом Луи?

– Точно не припомню, но думаю, что нет.

– Когда Маню расставался с вами на пороге вашей спальни, он решил немедленно отправиться домой. Однако несколько минут спустя ваш отец видел, как он спускался с третьего этажа. Это верно?

– Совершенно верно.

– А что, по вашему предположению, Маню делал на третьем этаже?

– Он вам об этом сказал. Он услышал шум и пошел посмотреть.

Судья вполголоса спросил что-то у своих помощников. Все трое пожали плечами. Взгляд в сторону Рожиссара, который потряс головой, взгляд в сторону Лурса...

– Спасибо... Можете быть свободной...

Николь слегка нагнула голову, как бы в поклоне, с самым непринужденным видом села рядом с отцом и тут же взялась за свои обязанности секретарши. Председатель кашлянул. Рожиссар чуть не сломал свой карандашик. В глубине зала снова произошло движение, хотя никто толком не знал, чем оно вызвано...

– Введите следующего свидетеля... Эдмон Доссен... Клянитесь... правду... правду... правую руку... к присяжным... Клянитесь... Здесь приложено медицинское свидетельство, удостоверяющее, что вы только что перенесли серьезную болезнь и что в связи с вашим состоянием вам прописан щадящий режим...

Эдмон действительно был бледен, как-то по-женски бледен. Он знал это. И играл на этом. Не испытывая ни малейших угрызений совести, он взглянул прямо в лицо Маню.

– Что вы знаете об этом деле? Повернитесь лицом к господам присяжным. Говорите громче...

– Пришлось вернуть все вещи, как в Эксе...

– Вы имеете в виду Экс-ле-Бэн, где вы играли в ту же игру, назовем ее условно «в гангстеры», и где вы возвращали похищенные предметы?

– Их просто клали каждое утро у источника, и полиция их находила... В Мулэне мы решили собрать сначала побольше трофеев... Главным образом потому, что в нашем распоряжении был целый этаж...

– В доме вашего дяди, не так ли? Как относился к вашему поведению подсудимый?

– Он все принимал всерьез... Я первый сказал остальным, что из-за него у нас будут неприятности...

Казалось, Лурса не слушает. Минутами он будто спал, скрестив на груди руки, опустив голову, и помощник судьи, не выдержав, толкнул председателя локтем.

– Как по-вашему, был ли подсудимый напуган ходом событий?

– Он совсем с ума сходил... Особенно когда Большой Луи стал требовать денег.

– Вам известно, что он воровал эти деньги?

Ответа на вопрос не последовало. Николь, порывшись в папках, вытащила какой-то листок и протянула отцу.

– Один вопрос, господин председатель... Не будете ли вы так добры спросить свидетеля, имел ли он отношения с девицей Пигасс, которую пока что безуспешно разыскивает полиция?

– Вы слышали вопрос? Отвечайте.

– Да... То есть...

– Много раз? – настаивал Лурса.

– Всего один...

Печка по-прежнему дымила. Стрелки медленно переползали по желтоватому циферблату часов, висевших над головой судьи.

И по-прежнему, как въедливое мурлыканье, все те же формулы, все те же слоги, повторенные десятки раз, уже потерявшие всякий смысл, ставшие простым припевом:

– Повернитесь к господам присяжным... Вопросов у защиты нет?

Лурса вздрогнул от неожиданности, так как думал совсем о другом. Думал о том, что его племянник Эдмон не доживет до старости, что ему осталось жить всего года два-три.

Почему? Да просто так показалось! Он глядел на племянника большими затуманенными глазами. Такой взгляд бывал у Лурса, когда он проникал в самую суть вещей.

Вопрос? Какой вопрос? Все это бессмысленно! Целая груда желтых папок полна ими, вопросами и ответами. Самыми разнообразными, включая времяпрепровождение Эдмона вечером седьмого октября.

Он просидел в «Боксинг-баре» примерно до полуночи. Вернулся к себе домой, и Детриво проводил его до подъезда.

Может быть, это была правда, может быть, нет, этого установить не удалось...

Если Эдмон убил Большого Луи...

Он на это способен! И Детриво тоже! Все они вполне на это способны, без всяких побудительных мотивов, просто потому, что таково логическое завершение игры!

Даже Эмиль!..

Почему Лурса ни разу не приходило в голову, что стрелял в Большого Луи Эмиль? Вот он сидит напротив, он снова весь напрягся, с ненавистью глядит на Доссена младшего!

Должно быть, он возненавидел Эдмона с первого же дня, потому что Эдмон был богат, потому что он был главарем их шайки, потому что он держался с Николь как собственник, потому что он принадлежал к влиятельной семье – словом, десятки разных потому что!

И Доссен его тоже ненавидел. Но совсем по противоположным причинам...

Однако все это можно довести до сознания пошляков-присяжных и судей не с помощью дурацких вопросов и ответов.

– Когда вы узнали, что Большой Луи убит, вы тотчас же заподозрили Эмиля Маню?

– Не знаю...

– Не подозревали вы в убийстве других ваших товарищей?

– Не знаю... Нет... Не думаю...

После допроса молодых людей дело пойдет быстрее. Но председатель старался выполнять свою миссию как можно тщательнее.

– Только сейчас ваш приятель Детриво сказал, что не может без стыда и сожаления думать о том, что позволил увлечь себя на столь опасный путь. А вы?..

И Эдмон бросил:

– Я сожалею...

Не то что Детриво, который заранее приготовил свою маленькую речь и с видом кающегося грешника шпарил ее наизусть: «Я сожалею о том, что я сделал, и стыжусь, что покрыл позором свою семью, где видел только добрые примеры... Прошу простить мне все то зло, которое я мог причинить и причинил... я... я...»

Еще целый час длилось заседание, уже при желтоватом свете больших ламп, освещавших только трибуну; в углах, как в церкви, залегла густая тень, и лишь отдельные лица светлыми пятнами выступали на общем темном фоне.

Анжель в комнате для свидетелей обливала грязью семейство Лурса, пронзительным голосом сообщала желающим мерзкие истории о папаше, о дочке и даже о Карле, которая хмуро забилась в уголок.

Когда публика стала расходиться с тем характерным шарканьем, какое обычно раздается в церкви после окончания торжественной мессы, каждый с удивлением, как что-то незнакомое, ощутил за стенами суда привычный уличный воздух, свет уличных фонарей, знакомые шумы, скользкие мостовые, автомашины, прохожих, продолжавших жить мирной будничной жизнью.

Джо Боксер поплелся за Лурса:

– Ума не приложу, куда она могла деться! Я повсюду ее искал. Не удивлюсь, если она вообще смоется... А вы что на этот счет скажете? По-моему, до сих пор все шло не особенно скверно?

Карла на обратном пути забежала в магазин купить что-нибудь к обеду, так как не успела ничего приготовить. Весь дом пропитала тишина, звонкая пустота.

Они не знали, что делать, за что взяться. Они уже отключились от судебного процесса, но еще не включились в обычную жизнь.

Николь села обедать. Несколько раз Лурса ловил на себе взгляд дочери, и, хотя он догадывался, о чем она думает, он предпочитал, чтобы она не заговаривала с ним.

Ибо уже давно ей случалось вот так поглядывать на отца, с любопытством, с каким-то иным, пока еще робким чувством, которое не было целиком благодарностью, не было еще любовью, но которое можно было бы определить как некую смесь чувств, где преобладает симпатия, а возможно, и восхищение.

– Что вы будете делать нынче вечером? – спросила она, вставая из-за стола.

– Ничего... Пойду лягу.

Это была неправда. И Николь слегка встревожилась. Он знал, что она встревожена и чем именно встревожена. Но не мог же он ни с того ни с сего пообещать ей, что бросит пить!

К тому же ему было необходимо выпить в одиночестве, запереть дверь, покурить, помешать в печурке, необходимо было садиться, вставать, ворчать, растрепать бороду и шевелюру.

Он слышал, как Николь трижды подходила к двери кабинета, чтобы послушать, чтобы успокоиться.

А он кружил по комнате... Среди этих мальчишек был один, был наверняка один, который вошел в комнату к Большому Луи и выстрелил...

И этот один знал, что убийца он и что Эмиль невиновен! Знал вот уже несколько месяцев! Его допрашивали наряду с другими, он отвечал, каждый вечер ложился в постель, спал, просыпался, встречал новый день, который нужно прожить!

Иногда вечерами, надеясь вырваться из круга назойливого одиночества, он бродил по улицам, приближался к другой тени, к Адель Пигасс, и шел за ней в ее зловонную каморку, чтобы заняться любовью.

И каждый раз он был на волосок от того, чтобы сказать ей все...

Но он сдерживался. Потом приходил снова. Снова сдерживался и в конце концов сдался.

Каким тоном он рассказал ей всю правду? Хвастался? Хихикал? Играл в цинизм? Или, напротив, не скрывал страха?

Что касается его, Лурса, он не в силах даже...

А ведь он смотрел им прямо в глаза: в глаза Детриво, который страстно желал всем угодить, в глаза Доссена, счастливого тем, что из-за болезни ему удалось уйти от ответственности.

Казалось, Эдмон говорил: «Вы же видите, что я слабый, что мне недолго жить... Ну вот я и развлекался... Это ведь никому не мешало!...»

Завтра утром будут выслушаны свидетельские показания колбасника, затем Люска, отец которого после всех этих ужасных событий таял как воск.

В церквах зазвонили колокола. Адель со своим Жэном была где-то здесь, они спрятались, затаились, потому что их, несомненно, предупредили о розыске.

Десятки раз Лурса подымался, шел к стенному шкафу, наливал в стакан несколько капель рому, с каждым разом увеличивая порцию, и наконец лег с неотвязным чувством, что нужно сделать последнее, легчайшее усилие, но что сделать его как раз невозможно.

Рожиссары радовались от души. Два заседания суда прошли благополучно. Кое-какие щекотливые вопросы удалось лишь слегка затронуть. Медведь вел себя вполне пристойно, да и Николь проявила относительную сдержанность. Шли оживленные переговоры по телефону. Доссену хотелось узнать, не может ли завтра произойти какой-нибудь неожиданный инцидент.

Марта бодрствовала в спальне сына, так как у Эдмона слегка поднялась температура. Люска заперся на ключ в своей комнате, которая была не настоящей комнатой, а чем-то вроде гаража или сарая, стоявшего посреди двора.

А госпожа Маню молилась, одна во всем своем доме, молилась, потом плакала, потом пошла проверить, хорошо ли заперта дверь, так как ей было страшно, потом поплакала еще немного и, уже засыпая, пробормотала вполголоса что-то, словно убаюкивая свою боль.

В восемь часов утра по улицам снова двинулся кортеж, мужчины, женщины группами стекались к зданию суда, люди узнавали своих соседей по скамьям, и если еще не раскланивались, то уже обменивались неопределенно любезными улыбками.

Эмиль был все в той же синей паре, в том же галстуке. Вид у него был более замкнутый, чем накануне, возможно, потому, что он очень устал.

А Джо Боксера Лурса не обнаружил в комнате свидетелей, хотя ему полагалось бы находиться там, ибо сегодня утром была его очередь.

– Суд идет!

«...следующий свидетель... говорите правду... правду... спода... сяжные...»

Допрашивали Дайа, в коричневом костюме, с веснушчатым лицом, с коротко подстриженными, как у новобранца, волосами. Этот ничего не воспринимал трагически, и, должно быть, в зале сидело немало его приятелей, так как он то и дело оборачивался и все подмигивал кому-то.

– Вы работаете в колбасной у вашего отца и на следствии показали, что несколько раз вам случалось брать из кладовой окорока...

И парень хвастливо подтвердил:

– Если бы я сам об этом не сказал, никто бы в жизни не заметил!

– Вы также брали деньги из кассы?

– Как будто другие стесняются!..

– Простите, не понимаю...

– Я говорю, что все берут из кассы... Отец, дядя.

– По-моему, ваш отец...

– Никогда счет не сходился, каждый вечер мать орала. Какая разница, чуть меньше, чуть больше!..

– Вы познакомились с обвиняемым в «Боксинг-баре» в тот вечер, когда произошел несчастный случай...

Вдруг Лурса вздрогнул. Какой-то человек, добравшийся только до третьего ряда и, видимо, безнадежно застрявший, так как адвокаты в мантиях загородили все проходы, делал ему отчаянные знаки.

Лурса его не знал. Человек еще молодой и, по-видимому, принадлежащий к окружению Джо Боксера.

Лурса встал и направился к нему.

– Срочное дело! – шепнул незнакомец, протягивая через плечи адвокатов смятый конверт.

И пока продолжался допрос колбасника, Лурса, вернувшись на свое место, прочитал записку, но даже бровью не повел, чувствуя на себе тревожный взгляд Рожиссара.

«Я их нашел. С нашей стороны было бы не особенно шикарно втягивать их в это дело, так как Жэн, оказывается, кое в чем замешан, а я и не знал. Я пристал к Адель, и она сказала мне, кто он. Это Люска. Это он пришил голубчика. Найдите возможность его присобачить, не подводя девчонку.

Я в комнате свидетелей. Но ни слова никому! Вы обещали мне все делать честно!»

Председатель вытянул голову, стараясь разглядеть лицо Лурса. Казалось, бедняга со своим массивным подбородком и ртом, словно прорезанным ударом сабли, сардонически смеется.

– Не хотите ли вы, мэтр?..

– Простите, вопросов не имею!

– А вы, господин прокурор?

– Вопросов не имею. Возможно, было бы разумнее для ускорения хода дела и чтобы не злоупотреблять терпением господ присяжных...

...следующий свидетель...

Еще один взгляд через головы судей на окончательно пришибленного Эмиля Маню.

– Эфраим Люска, называемый Жюстеном... клянитесь... всю правду... скажите: клянусь... обернитесь... господам присяжным... Вы познакомились с подсудимым... Простите! Из дела явствует, что вы знали его очень давно, коль скоро вы вместе учились в школе...

Печка дымила. Дым бил прямо в лицо девятого присяжного, ел ему глаза, и присяжный отмахивался носовым платком.

Лурса, положив локти на стол, уткнув подбородок в ладони, прикрыл глаза и не шевелился.

IV

Стоявшие с ним рядом в глубине зала его не знали. Возможно, они смутно догадывались, что принадлежит он к той породе людей, что лежат прямо на полу в коридорах ночных поездов, на вокзалах, терпеливо ждут в полицейском участке, пристроившись на самом краешке скамейки, или безуспешно пытаются объясниться с гостями на невозможном французском языке; к тем, кого высаживают на границах, на кого покрикивает начальство, и, быть может, именно поэтому у них обычно красные, испуганные, как у серны, глаза.

Возможно, просто потому, что от его вельветовой куртки дурно пахло, все его сторонились? А он, казалось, ничего не замечал. Он смотрел прямо перед собой не то вдохновенно, не то ошалело, терпеливо снося толчки соседей то справа, то слева. Лицо его украшали пышные висячие усы – с такими усами изображали до войны на картинках болгар; его нетрудно было представить себе в каком-нибудь национальном костюме, с металлическими пуговицами из золотых монет на куртке, в фасонных сапожках, с серьгой в ухе, с бичом в руке...

А вот бедняга-председатель Никэ со своей физиономией, как бы расколотой надвое линией рта, ужасно походил на циничную и крикливую марионетку, которой манипулирует чревовещатель.

Что это он сказал, председатель? Лурса прислушался. Отдельные фразы бессознательно запечатлевались в его мозгу.

Он поглядывал на человека, затиснутого напором толпы в дальний угол; тот с трудом сохранял равновесие, стоя на цыпочках за плотными рядами адвокатов в мантиях.

«...отец родился в Батуме в...»

Ведь это же занесено в дело! В папке Люска... Люска-отец родился в Батуме, у подножия Кавказских гор, в городе, где смешалось двадцать восемь различных национальностей. Что носили его предки – шелковый халат, феску или тюбан? Так или иначе, наступил день, когда он покинул Батум, как раньше его отец покинул, вероятно, какой-нибудь другой край. Когда ему было лет десять, семья жила уже в Константинополе, а два года спустя – в Париже, на улице Сен-Поль!

Он был смуглый, маслянистый, почти липкий. А его отпрыск, конечный продукт этого брожения, Люска-младший, топтавшийся у барьера, был рыж, и курчавая его шевелюра окружала голову наподобие нимба.

– Я познакомился с Эдмоном Доссеном как-то вечером, когда играл на бильярде в пивной на площади Республики.

Можно поручиться, что председатель тоже ломает себе голову над вопросом, каким образом смиренный Люска, продавец-зазывала «Магазина стандартных цен», мог втереться в блестящее окружение Эдмона. Знатные вельможи нуждаются в придворных. Доссен был своего рода знатным вельможей, и преклонение этого рыженького уроженца Востока, должно быть, льстило его барству. Тот смеялся, когда требовалось смеяться, все одобрял, вился ужом, улыбался, сносил любые капризы Эдмона...

– А когда это было?

– Прошлой зимой...

– Повернитесь к присяжным, не бойтесь... Говорите громче...

– Прошлой зимой...

Лурса нахмурился. Пожалуй, добрых пять минут он глядел на отца, оттиснутого вглубь зала, думал только о нем, пытался перечувствовать все...

Потом с таким видом, будто его только что разбудили, Лурса нагнулся к Николь и шепнул ей несколько слов. Пока она рылась в папках, адвокат смотрел на молодого Люска, удивляясь, что допрос еще не кончен, и старался определить или угадать, как человек, опоздавший к мессе, что же сейчас происходит.

– Верно, – подтвердила Николь. – Это как раз вы заставили вызвать его в суд...

Лурса поднялся. Не важно, что он прервал чью-то фразу.

– Прошу прощения, господин председатель... Я установил, что в зале есть свидетель, которого еще не заслушивали...

Понятно, все взоры устремились в зал. Публика завертелась на скамейках, оглядывая собственные ряды. И самое удивительное было то, что отец Люска со своими кроткими, испуганными глазами тоже обернулся вместе со всеми прочими, делая вид, что речь идет не о нем.

– Кого вы имеете в виду, мэтр Лурса?

– Эфраима Люска-старшего... которому полагалось бы находиться в комнате свидетелей.

Сын тем временем стоял у перил и почесывал себе нос.

– Эфраим Люска!.. Кто пропустил вас в зал? Каким образом получилось, что вы не находитесь в комнате свидетелей?.. Откуда вы вошли?..

И человек с большими кроткими глазами неопределенным жестом указал на одну из дверей, хотя было очевидно, что войти через нее он не мог. Снова он стал жертвой рока! Он сам не понимал ни почему он здесь, ни как сюда попал и стал пробираться сквозь толпу, бормоча себе что-то под нос, по направлению к комнате свидетелей, где ему полагалось быть.

– Вернемся к нашим баранам...

Господин Никэ процитировал эту знаменитую фразу машинально, не глядя на сына Люска, и с удивлением услышал взрыв смеха; только взглянув на курчавое руно свидетеля, он понял причину общего веселья.

– Вопросов нет, господин прокурор?

– Я хотел бы только спросить свидетеля, который знал подсудимого со школьной скамьи, считал ли он его откровенным и жизнерадостным мальчиком или скорее обидчивым?

Вначале Эмиль Маню, зная, что за ним наблюдают, не решался быть самим собой. Но теперь он забыл о публике, сидевшей в зале, и временами лицо его кривила произвольная гримаса. Как раз в эту минуту он вытянул вперед шею, чтобы лучше видеть Люска, и лицо его приняло мальчишеское выражение, с каким один школьник задирает другого.

Люска тоже повернулся к Эмилю, и взгляд его был еще мрачнее, чем взгляд его школьного товарища.

– Скорее, обидчивый, – отчеканил он.

Эмиль насмешливо хихикнул! Еще немного, и он призвал бы суд в свидетели, таким неслышанным и чудовищным показалось ему нахальное утверждение Люска, что он был обидчив. Он с трудом удержался, чтобы не встать с места, не запротестовать вслух.

– Насколько я вас понял, вы хотите сказать, что он был завистливым... Не торопитесь отвечать... Маню, как и вы, жил в скромных условиях... Многие ваши одноклассники были не так далеки друг от друга по своему имущественному положению. В таких случаях часто возникают различные кланы... Рождается зависть, которая легко переходит в ненависть...

Тут послышался голос Маню, который начал было:

– Да что ты там...

Но председатель прикрикнул:

– Молчать! Дайте говорить свидетелю!

Впервые с начала процесса Маню взбесился от злости и готов был призвать весь зал в свидетели такой неслышанной наглости. Не в силах сдержаться, он продолжал что-то ворчать, и председатель повторил:

– Молчать! Только свидетель имеет слово...

– Да, господин председатель...

– Что да? Означает ли это, как сказал господин прокурор, что ваш товарищ был завистлив?

– Да...

Тут заговорил Рожиссар:

– Судя по вашим прежним заявлениям, подсудимый – впрочем, он сам это подтверждает – просил вас познакомить его с вашими приятелями... Припомните-ка хорошенько... Не было ли поведение Маню в отношении Эдмона Доссена вызывающим с первого же вечера, то есть с того вечера, когда произошел несчастный случай?

– Чувствовалось, что он его не любит!

– Хорошо! «Чувствовалось, что он его не любит». Выражал ли он свою неприязнь более откровенным образом?

– Он обвинил Эдмона, что тот передергивает...

Временами казалось, что Эмиль не выдержит и перепрыгнет через перила, отгораживавшие его от публики, до того он был напряжен.

– А что ответил Доссен?

– Что это правда, что он самый из всех нас умный и что Маню, если только сумеет, пусть тоже передергивает...

– В течение последующих дней вы часто виделись с Маню? Если не ошибаюсь, вы оба работали на одной и той же улице?

– Первые два-три дня.

– Что?

– Он со мной разговаривал... Потом, когда у него с Николь все пошло хорошо...

Хотя на брюках у него не было складок, все заметили, как дрожат его колени, словно Люска била лихорадка.

– Продолжайте... Мы стараемся установить истину.

– Он перестал интересоваться нами, и мной в том числе...

– Короче, он достиг цели! – отрезал Рожиссар, самодовольно выпрямляя стан. – Благодарю вас. Больше вопросов не имею, господин председатель...

Лурса медленно поднялся с места.

Первые же его слова были началом боя:

– Не может ли свидетель сказать, сколько отец давал ему карманных денег?

И когда Люска живо повернулся к адвокату, сбитый с толку этим вопросом, Рожиссар сделал знак председателю.

Но Лурса уточнил:

– Господин прокурор требовал от свидетеля не точных, вполне определенных сведений, а, так сказать, сугубо личного мнения. Да позволит он мне в свою очередь осветить личность Эфраима Люска, называемого Жюстеном...

Не успел он закончить фразу, как Люска стремительно произнес:

– Мне не давали денег! Я сам их зарабатывал!

– Чудесно! Разрешите узнать, сколько вы зарабатывали в «Магазине стандартных цен»?

– Примерно четыреста пятьдесят франков в месяц.

– Вы оставляли их себе?

– Из этой суммы я давал родителям на питание и стирку триста франков.

– Сколько времени вы работаете?

– Два года.

– Есть у вас сбережения?

Он злобно бросал свидетелю вопросы прямо в лицо. Рожиссар снова беспокойно шевельнулся в кресле и наклонился с таким расчетом, чтобы председатель мог слышать его слова, произнесенные вполголоса.

– Больше двух тысяч франков, – буркнул Люска.

Лурса с удовлетворенным видом повернулся к присяжным:

– Свидетель Эфраим Люска имеет больше двух тысяч франков сбережений, а ему только девятнадцать лет. Работает он всего два года.

И снова злобно спросил:

– А одеваться вам приходилось на оставшиеся сто пятьдесят франков?

– Да.

– Значит, вы одевались на эти деньги, и тем не менее вам удавалось откладывать примерно по сто франков в месяц... Иными словами, у вас не оставалось на личные расходы и пятидесяти франков... Может быть, вы тоже умеете передергивать в покер?

Люска растерялся. Он не мог отвести глаз от этого мастодонта, от этой лохматой физиономии, от этого рта, откуда, как пушечные ядра, вылетали вопрос за вопросом.

– Нет...

– Стало быть, в покер вы играли честно! Может быть, вы воровали деньги из кассы родителей?

Даже Эмиль и тот оцепенел от изумления! Рожиссар соответствующей мимикой старался показать, сколь ненужным, если не просто скандальным, считает он этот допрос, и жестами умолял председателя вмешаться.

– Я никогда не воровал у родителей...

Председатель стукнул по столу разрезальным ножом, но Лурса не слышал.

– Сколько раз вы кутили с Доссеном и его приятелями? Не знаете? Попробуйте припомнить... Хотя бы приблизительно. Тридцать раз? Или больше? Сорок? Что-нибудь между тридцатью и сорока? И вы пили наравне с другими, полагаю? То есть больше четырех рюмок за вечер...

Голос председателя прозвучал одновременно с вопросом Лурса, и Лурса, мгновенно утихомирившись, повернулся к нему.

– Господин прокурор обратил мое внимание на то, что вопросы свидетелю можно ставить только через председателя... Поэтому прошу вас, мэтр Лурса, сообразоваться...

– Слушаюсь, господин председатель... Не сделаете ли вы величайшее одолжение узнать у свидетеля, кто за него платил?

И председатель явно неохотно повторил вопрос:

– Потрудитесь сказать господам присяжным, кто за вас платил?

– Не знаю...

Люска не спускал полные злобы глаза с адвоката.

– Не спросите ли вы, господин председатель, платил ли его приятель Маню за себя?

Рожиссар требует, чтобы все формальности были соблюдены! Пожалуйста! Теперь председателю придется, как попугаю, повторять чужие вопросы.

– ...вас спрашивают, платил ли за себя Маню?

– Платил ворованными деньгами!

Всего десять минут назад зал был спокоен, даже чуточку угрюм. Но вот публика почуяла, что идет бой, хотя она даже не заметила его начала. Никто не понял, что именно произошло. Присутствовавшие оторопело глядели на адвоката, который вскочил с места, как дьявол, и громовым голосом задавал какие-то пустяковые вопросы.

Черты лица Эмиля обострились. Возможно, он начал что-то понимать?

А тем временем Люска со своей нимбообразной шевелюрой внезапно почувствовал себя ужасно одиноким среди всей этой толпы.

– Мне хотелось бы знать, господин председатель, были ли у свидетеля подружки или любовницы.

Вопрос, повторенный устами господина председателя, прозвучал совсем нелепо.

В ответ последовало злобное:

– Нет!

– Чем это объяснялось: робостью, отсутствием интереса или природной бережливостью?

– Господин председатель, – протестующе начал Рожиссар, – думаю, что подобные вопросы...

– Вы предпочитаете, господин прокурор, чтобы я задавал их в иной форме? Хорошо, поставлю точку над «и». До того как Эмиль Маню вошел в шайку, был ли Эфраим Люска влюблен в Николь?

Молчание. Сидевшие ближе увидели, как Люска судорожно проглотил слюну.

– Один из свидетелей сказал нам вчера, что Люска был влюблен... И сейчас вы убедитесь сами, что этот вопрос немаловажен. Задавая вопросы, я пытаюсь установить, что Люска был девственником, скупцом и человеком скрытным... У него не было приключений, так же как у его приятеля Доссена, который только несколько недель назад обратился к профессионалке с просьбой просветить его...

Гул протеста. Но Лурса не сдавался, он стоял на своем. Тщетно председатель стучал по столу разрезальным ножом.

– Отвечайте, Люска!.. Когда через несколько дней после смерти Большого Луи вы заговорили на углу улицы Потье с девицей Адель Пигасс, впервые ли вы тогда имели сношения с женщиной?

Люска не шелохнулся. Только побледнел и уставился в одну точку широко открытыми немигающими глазами.

– Девица Пигасс, которая посещала «Боксинг-бар» и занималась своей профессией на улочках, прилегающих к рынку, упоминалась здесь не раз и, надеюсь, сейчас выступит на суде в качестве свидетельницы...

– Больше вопросов нет? – рискнул спросить господин Никэ.

– Еще несколько, господин председатель. Не соблаговолите ли вы спросить у свидетеля, почему он вдруг почувствовал необходимость сблизиться с этой девицей и посещал ее несколько раз?

– Слышали вопрос?

– Я не знаю, о ком идет речь...

Эмиль уже не сидел, он почти стоял. Вцепившись обеими руками в барьер, он так сильно наклонился вперед, что его ладони не касались скамейки, и жандарм даже придержал его за локоть.

– Не спросите ли вы у свидетеля...

Лурса не договорил. Рожиссар снова обратился с протестом...

– Прошу прощения! Не окажете ли вы мне, господин председатель, величайшее одолжение спросить у свидетеля, в чем он как-то ночью, лежа в постели с вышеупомянутой девицей, ей признался?

Следовало держать его все время, каждую секунду, на прицеле своего взгляда. Мгновенная передышка – и он, чего доброго, оправится. В нем чувствовался как бы прилив и отлив, падение и взлет, то он весь напрягался, свирепый и жестокий, то, растерянный, искал опоры вовне.

– Не слышу ответа, господин председатель...

– Говорите громче, Люска...

На этот раз Люска глядел на Эмиля, на Эмиля, который громко и тяжело дышал, весь нагнувшись вперед, словно собираясь перескочить через препятствие.

– Мне нечего сказать... Все это неправда!..

– Господин председатель... – попытался еще раз вмешаться Рожиссар.

– Господин председатель, я прошу дать мне возможность спокойно продолжать допрос...

Соблаговолите спросить свидетеля: правда ли, что вечером седьмого октября, когда Маню, услышав выстрел, поднялся на третий этаж, Люска успел проскользнуть на чердак, где ему пришлось просидеть несколько часов, так как обратный путь был отрезан следователем и полицией?

Маню сжал кулаки с такой силой, что, должно быть, почувствовал боль. В зале никто не шевелился, и Эфраим Люска, он же Жюстен, был всех неподвижнее, недвижим, как неодушевленный предмет.

Все ждали. Никто не нарушал его молчания. А сам Лурса, стоя с вытянутыми руками, казалось, гипнотизировал его.

Наконец голос, идущий откуда-то издалека, произнес:

– Я не был тогда в доме.

Послышался дружный вздох публики, но это не был вздох облегчения. В воздухе пахло нетерпением, насмешкой. Все ждали, обернувшись к Лурса.

– Может ли свидетель подтвердить нам клятвенно, что в тот вечер он был у себя дома, в постели? Пусть он повернется к Эмилю Маню и скажет ему...

– Тише! – вне себя завопил председатель.

Никто не проронил ни слова. Только в глубине зала раздавалось нетерпеливое шарканье ног.

– Поскольку вы не смеете взглянуть в лицо Маню...

Тут он взглянул. Повернулся всем телом, вскинул голову. Эмиль не выдержал, рывком вскочил и крикнул с искаженным лицом:

– Убийца! Подлец! Подлец!

Губы его тряслись. Всем показалось, что в припадке нервного напряжения он сейчас заплачет.

– Подлец! Подлец!

И все увидели, как задрожал тот, другой, по-прежнему один среди огромного пустого пространства. Казалось, слышно было даже, как лязгают его зубы.

Сколько времени продолжалось ожидание? Несколько секунд? Несколько долей секунды?

Потом неожиданным для всех движением Люска бросился ничком на пол, обхватил голову руками и зарыдал навзрыд.

Непомерно огромный рот, прорезавший лицо председателя, нелепый рот паяца, казалось, безмолвно смеется.

Лурса медленно опустился на место, нащупал в кармане мантии носовой платок, утер лоб, глаза и шепнул мертвенно-бледной Николь:

– Не могу больше!

Все было омерзительно – и господин председатель, надевший шапочку, предварительно спросив о чем-то своих помощников; и красные и черные мантии, выпархивающие из зала; и присяжные, неохотно удалившиеся на совещание, словно их приковало к себе зрелище тела, расprostертого на полу у ног двух адвокатов и одной адвокатессы, белокурой до неестественности.

Эмиль, которого уводили, уже совсем ничего не понимал, он тоже обернулся несколько раз, встревоженный и потрясенный.

Лурса сидел на своем месте, неуклюжий, хмурый, физически больной от всей той ненависти, которая благодаря ему всплыла со дна на поверхность, всей этой не просто людской ненависти, а ненависти юношей, куда более острой, куда более мучительной, более свирепой, ибо выросла она на почве унижения и зависти, из-за вечной нехватки карманных денег, из-за рваных ботинок!

– Значит, по-вашему, дело пошлют на следствие?

Лурса вскинул большие глаза на своего коллегу адвоката, задавшего ему вопрос. Разве его, Лурса, это касается? В судейской комнате стоял шум. Кликнули на выручку опытных судей. Дюкуп метался в беспокойстве.

В зале осталась только публика, боявшаяся потерять места, она сидела не шевелясь и глядела на пустые скамьи судейских, где не было теперь никого, кроме Лурса с дочерью.

– Вы, должно быть, хотите подышать немного свежим воздухом, отец?

Зря она это! Ну и ладно! Ему хотелось пить, чудовищно хотелось! И плевать, что его увидят, когда он в своей мантии ввалится в бистро напротив...

– Правда, что Люска признался? – спросил его хозяин, подавая стакан божоле.

Ясно, признался! И отныне все потечет, как ручей: признания, подробности, включая те, которых у него не спросят, которых предпочли бы не слышать!

Неужели они не поняли, что когда Люска бросился на пол, то причиной тому была усталость, страстное желание покоя? И если он заплакал, то потому, что почувствовал облегчение. Потому что теперь он уже мог не быть наедине с самим собой, со всей этой грязной правдой, которую знал только он и которая приобретет иное качество, качество драмы, подлинной драмы, такой, какой представляют ее себе люди.

Покончено раз и навсегда с болезненным гнетом, с этим ежеминутным унижением, а главное – покончено со страхом!

Знал ли он хоть то, почему убил? Это уже не имело никакого значения! Все переиначат. Переведут на пристойный язык.

Будут говорить о ревности... О загубленной любви... О ненависти к сопернику, который отбил у него Николь, хотя сам он и заикнуться не смел о своей любви...

Все это станет правдой! Почти прекрасной!

А ведь до этой минуты Люска, оставаясь один и медленно перебирая свои воспоминания, испытывал лишь болезненную зависть бедного юноши, зависть Эфраима Люска, даже не зависть бедного к богатому, к Доссену, которому он добровольно согласился служить, а зависть к такому же, как он, к тому, кого он сам ввел в их круг, к тому, кто продавал книги в магазине напротив и кто перешел ему дорогу, не заметив этого...

– Все то же самое! – вздохнул Лурса.

Который час? Он представления не имел. Его поразило зрелище похоронной процессии, двигавшейся по улице. На тротуаре стояли судейские, адвокаты в своих мантиях... А позади катафалка шли люди, одни тоже в торжественном облачении, другие в трауре. И оба лагеря с любопытством переглядывались, как служители двух различных культов.

Дебаты в судейской комнате все еще шли, то и дело звонили по телефону. Красные мантии вихрем носились по коридорам. Хлопали двери. На все обращенные к ним вопросы жандармы пожимали плечами.

Лурса – на усах у него поблескивали лиловатые капли вина – заказал еще стакан. Вдруг кто-то тронул его за локоть:

– Отец, вас зовет председатель...

Догадавшись, что Лурса не расположен идти на зов господина Никэ, Николь с мольбой поглядела на отца:

– Только на минуточку!

Он допил третий стакан и стал шарить в карманах, ища мелочь.

– Заплатите потом, господин Лурса... Ведь вы еще зайдете к нам?..

V

Бедная Карла! Как она старалась придать своей уродливой физиономии чуть ли не заискивающее выражение!

– Месье должен выйти к столу... Месье должен что-нибудь скушать...

Ей удалось даже не огорчиться, хотя на письменном столе открыто стояли две бутылки, весь пол был усеян окурками и в кабинете царила обычная для дурных дней гнетущая атмосфера.

Лурса взглянул на нее, зеленовато-бледный, нелепый:

– Хорошо... Нет... Скажите им, Фина, что я устал...

– Месье Эмиль с матушкой так хотят вас поблагодарить...

– Хорошо... Ладно...

– Значит, я им скажу, что вы сейчас выйдете?..

– Нет... Скажите... Скажите им, что я увижусь с ними как-нибудь на днях.

Николь, ждавшая в столовой, сразу все поняла, взглянув на Карлу. Она с трудом выдавила улыбку и обратилась к госпоже Маню:

– Прошу вас, не обращайтесь внимания. Отец все это время ужасно много работал... Он не такой, как другие...

Эмиль счел необходимым заявить:

– Он спас мне жизнь!

Потом добавил просто:

– Молодец!

Госпожа Маню, беспокоившаяся лишь об одном – как бы получше держаться за столом, – держалась слишком хорошо, слишком напряженно, слишком торжественно.

– Как мило с вашей стороны, что вы пригласили нас обедать... Хотя я, пожалуй, впервые в жизни так счастлива, но боюсь, что в нашем маленьком домике нам вдвоем с Эмилем в этот вечер было бы грустно...

Ей хотелось плакать, хотя причин для слез словно бы и не было.

– Если бы вы только знали, как я исстрадалась! Когда я подумала, что мой сын...

– Но все ведь кончено, мама!

На Эмиле был все тот же синий костюм, все тот же галстук в горошек. Карла кружила вокруг стола, щедро накладывала Эмилю кушанья с таким видом, словно хотела сказать: «Ешьте-ка! После всего, что вы натерпелись в тюрьме...»

Временами Николь прислушивалась. Маню заметил это и почти заревновал. Он чувствовал, что она не следит за разговором, что думает она о другом, о том, кого здесь нет.

– Что с вами, Николь?

– Ничего, Эмиль...

Как раз в эту минуту она пыталась припомнить, были ли они с Эмилем до всего случившегося на «ты» или на «вы». Ей казалось, что сегодня произошло что-то ни с чем не соотносимое.

– Вы ему сказали, что я уезжаю в Париж?

– Да...

– А что он об этом думает?

– Что это очень хорошо.

– А он разрешит вам приехать ко мне, разрешит нам пожениться, когда я создам себе положение?

Почему он так много говорит, и говорит слишком определенно? Она прислушивалась. Но слышно было лишь завывание ветра в каминной трубе да деликатное постукивание вилки о тарелку, вилки, которую госпожа Маню из утонченности держала кончиками пальцев и из тех же соображений подчеркнуто бесшумно жевала пищу.

– Я думаю, как ему удалось это открыть и главное – заставить того признаться...

Подали телятину. Она оказалась пережаренной. Карла извинилась, но ей пришлось все делать одной, она нынче выставила прочь очередную горничную, которая позволила себе дурно отозваться о мадемуазель.

– Разрешите, я отлучусь на минутку?

Николь поднялась, быстро вышла из столовой и остановилась в неосвещенном коридоре, услышав, как хлопнула дверь кабинета и сразу же вслед за этим раздались неверные шаги отца. Она отступила и забилась в темный угол, а он прошел совсем рядом мимо Николь, как проходил раньше десятки раз, не подозревая о ее присутствии.

Действительно ли он ничего не заметил? Почему же в таком случае он приостановился, замедлил шаг? Он тяжело дышал. Он всегда так дышал, потому что слишком много пил. Он спустился по лестнице, надел шляпу и пальто, на ощупь открыл задвижку.

Николь, не шевелясь, постояла в своем углу еще немного. Потом ей захотелось улыбаться, потому что она была счастлива, и она вошла в столовую.

– Подавайте сыр, Фина.

Он брел по улицам, занимая собой почти весь тротуар, и сам не знал, куда идет. Мысль уйти из дому пришла ему как раз в ту минуту, когда он подкладывал в печурку уголь. Он вдруг остановился, огляделся вокруг и почувствовал себя чужим среди этой обстановки, бывшей как бы неотъемлемой частью его самого. Книжки, сотни, тысячи книг и спертый воздух, такое ничем невозмутимое спокойствие, что слышно даже течение собственной жизни...

Он шагнул, тяжело отдуваясь, делая вид, что не знает, куда идет. Он даже подхихикивал, вспоминая эти две Жерди – Рожиссара и его супругу, – которым, должно быть, сейчас не до смеха; своего зятя Доссена и свою сестрицу Марту, которая, наверное, уже велела вызвать доктора Матре.

Он пересек улицу Алье, очутился около пивной, где играли на бильярде. Сквозь матовое стекло не видно было игроков, но слышался треск шаров, можно было даже угадать, удачен удар или нет.

Здесь играл на бильярде Эфраим Люска...

И их лавка была на месте, узенькая, как щель, в правом крыле дряхлого дома со старомодными жалюзи, которые опускались до самого тротуара.

Оттуда просачивался свет. В лавке было темно, но дверь, ведущая на кухню, которая служила супругам Люска одновременно столовой и спальней, была открыта, и из нее пробивался этот пучок света.

Из дома напротив вышел юноша и со счастливым лицом зашагал к кинотеатру.

Не мог же Лурса подглядывать в замочную скважину, не мог постучать в дверь, не мог сказать торговцу с болгарскими усами: «Если разрешите, я охотно возьмусь...»

Нет! Хватит! Его не поймут! Сочтут за безумца! Нельзя браться за защиту человека, которого ты сам сразил тяжелым ударом! Человека? Даже не человека! Крупицу человека! Крупицу драмы...

Он прошел мимо полицейского, который вздрогнул и пожал плечами, увидев, что адвокат вошел в «Боксинг-бар».

Интересно, с какой целью, по мнению полицейского, пошел в бар Лурса?

– Я так и думал, что вы придете, но сегодня вас не ждал... Хочу вам объяснить насчет той записочки, что вам передал... Месяца два назад Жэн натворил каких-то дел в Ангулеме, и, если бы его сейчас взяли, тогда... Сами понимаете! Жаль, что мне не удалось послушать, как вы громили молодого Люска... Говорят, просто страшно было на вас смотреть... Что прикажете подать?... Нет, сегодня моя очередь... Когда месье Эмиль придет сюда, я и ему тоже бутылочку поставлю – не простую, а шампанского, ведь мальчуган оказался просто молодцом...

Возможно, потому, что Лурса слишком долго жил в одиночестве, он не сразу свыкался с чужой обстановкой. Чтобы почувствовать себя непринужденно, ему требовалось выпить.

А потом он подумал, что ему лучше сидеть, скажем, в «Харчевне утопленников»: все шоферы его знали, столько раз возили его туда ночью.

Но и там ему было не лучше. Однажды даже, проходя мимо ярко освещенного по случаю приема гостей дома Доссенов, он с трудом отогнал шалую мысль: «А что, если войти и объявить, что я хочу сыграть с ними в бридж?»

Но он предпочитал заходить в тупичок и пить вино со старухой, у которой снимала комнату Гурд и куда возвратилась Адель Пигасс, убедившись, что ее Жэн благополучно перешел границу.

Все эти люди отличались тем, что говорили мало. Выпиваешь стаканчик. Глядишь прямо перед собой. Слова здесь звучат особенно веско, потому что их говорят скупно, и тот, кто их произносит, знает почти все, что можно знать.

Адель после отъезда Жэна, от которого она получила открытку из Брюсселя, пошла в гору, зато дела в «Боксинг-баре» стали хуже, и Джо подумывал приобрести себе на ярмарке балаган.

Вечерами казалось, что улицы, чересчур узкие улицы, проходят где-то под землей, под городом, и Лурса чудилось, будто он пробирается глубоко под чужими жизнями и до него доносится лишь приглушенное их дыхание.

Но самое неприятное было то, что Карла решила после свадьбы мадемуазель Николь отправиться с ней в Париж.

Тогда придется ему самому управляться с девицами типа Анжель или со старыми служанками вроде тех, что работают у кюре!

Следовательно, уже не Дюкуп, а другой, назначенный на место Дюкупа, без конца твердил:

– Лурса? Безусловно, никто не знает нашего города так хорошо, как он...

И поскольку собеседник обычно подымал на него строгий взгляд, следовательно поспешно добавлял:

– Жаль, что такой светлый ум...

И в последующем бормотании можно было различить лишь самый конец фразы, одно только слово:

– ...алкоголь...

Совсем так, как господин Никэ, подобно марионетке, которой орудует чревовещатель, твердил тогда на суде: «...клянись также... спода... дымите руку... ернитесь... одам... сяж-ным...»

Люска получил десять лет. Мать его умерла, а отец по-прежнему торгует шарами в своей лавчонке, где запахи стали словно бы еще гуще.

Пятицветная блестящая открытка, изображающая извержение Везувия, гласила:

Сердечный привет и поцелуй из Неаполя.

Николь, Эмиль

Эдмона Доссена поместили в дорогой санаторий. Детриво дослужился до старшего унтер-офицера. Дюкуп переехал в Версаль, Рожиссар отправился на три дня в Лурд в качестве санитар-добровольца. Доссен-отец все так же кутит с девицами в роскошных публичных домах. Дайа-сын женился на дочке торговца удобрениями.

Адель и Гурд по-прежнему поджидают на углу улицы клиентов.

А перед стаканом красного вина сидит в бистро совсем один Лурса, пока еще сохраняя достоинство.

1940

Дождь идет

I

Я сидел на полу возле низкого окна полумесяцем, в окружении своей игрушечной мебели и зверей. Спиной я почти касался толстой печной трубы – она шла снизу из магазина, проходила сквозь перекрытие и, обогрев комнату, исчезала где-то в потолке. Это было очень забавно – когда огонь переставал гудеть, по трубе передавались звуки, и мне было слышно все, что говорилось внизу.

Шел черный дождь. Матушка утверждает, что это собственное мое выражение. И даже будто я употребил его, когда она еще носила меня на руках. Правда, по части воспоминаний матушке моей доверять особенно не следует. Тут мы с ней чаще всего расходимся. Воспоминания ее какие-то слащавые и выцветшие, как те обрамленные бумажными кружевами картинки святых, которые закладывают в молитвенник. Если я напоминаю ей какую-нибудь историю из нашего общего прошлого, она всплескивает руками, возмущается:

– Господи, Жером! Да как ты можешь такое говорить? Ты все видишь в дурном свете! Потом, ты был слишком мал. Ты просто не можешь этого помнить...

И если я не настроен благодушно, начинается довольно жестокая игра.

– Помнишь субботний вечер, когда мне было пять лет?

– Какой еще субботний вечер? К чему это ты опять ведешь?

– А когда я сидел в ванночке и вернулся отец, и вы...

Она краснеет, отворачивается. Потом украдкой кидает на меня взгляд.

– Вечно ты фантазируешь.

Но прав я. Воспоминания детства, даже самого раннего детства, например, когда мне было года три, у меня удивительно яркие, и по прошествии стольких лет я все еще ощущаю запахи, слышу звуки голосов, какой-то странный их резонанс, в частности на винтовой лестнице, соединяющей комнату, где я сидел, с находившейся внизу лавкой.

Если бы я завел с матушкой разговор о приезде тети Валери, она поклялась бы, что я все выдумываю или, во всяком случае, преувеличиваю, и была бы по-своему искренна.

И тем не менее...

Но черный дождь, так или иначе, остается для меня чем-то своеобразным, чем-то неразрывно связанным с нашим маленьким нормандским городком, с рыночной площадью, на которой мы жили, с определенной порой года и даже с определенным временем дня.

Я имею в виду не щедрые грозовые ливни, что за стеклами окна полумесяцем низвергались крупными светлыми каплями, выбивавшими дробь по железному оконному карнизу и булыжнику мостовой, и не туманную морось чахлой белесой зимы.

Когда шел черный дождь, в комнате с низким потолком становилось темно и весь дальний угол вплоть до перегородки, отделявшей спальню родителей, окутывался густым полумраком. Зато отверстие в полу, где проходила винтовая лестница, излучало свет зажженных в лавке газовых рожков.

Со своего места мне не видно было неба. Старые дома на площади, посреди которой стоял крытый рынок с шиферной кровлей, были построены все в одно время и все на один образец. Окна нижнего этажа – там помещались только лавки – очень высокие, сводчатые. Впоследствии окна поделили в высоту пополам и сделали еще одно перекрытие, устроив антресоли.

И получилось, что в антресоли было на уровне пола окно в виде полумесяца.

Я сидел, окруженный своими игрушками, и если свет и доходил до меня, то не столько с неба, сколько от бликов и отражений на мокрой мостовой. В большинстве лавок, так же как в нашей, в такие дни зажигали газ. Изредка я слышал звяканье колокольчика в аптеке или наш звонок. Длились и длились сумерки, населенные бегущими силуэтами, лоснящимися зонтиками, хлопающими сабо; в кафе Костара все гуще плавал дым, а внизу медовый голос матушки, постоянно боявшейся показаться недостаточно любезной, нарушить приличия, как бы журчал:

– Ну разумеется, мадам... Я ручаюсь за краску... Мы не первый год держим этот товар, и никогда еще не было жалоб...

Шел ли дождь? Нет, скорее он лился ручьем, ровно и безостановочно. А когда окончательно темнело, матушка, подойдя к лестнице, кричала снизу:

– Жером!.. Пора спускаться...

Чтобы не зажигать лишнего рожка.

Как же она не понимает, что малейшее отклонение от заведенного порядка не могло не запечатлеться у меня в памяти? Запомнил же я те две недели, когда рыночные часы остановились на десяти минутах одиннадцатого, и маленького бородача, целый день просидевшего на пожарной лестнице за их починкой.

В отношении тети Валери воспоминания мои еще более четки – мне тогда уже исполнилось семь лет, и я потому лишь не ходил в школу, что поговаривали об эпидемии скарлатины; а матушка, надо заметить, боялась эмидемий даже больше любого нарушения приличий.

Сперва за нашим домом, в так называемом ремесленном дворе, слышался резкий звук рожка. Значит, вернулся отец в запряженном парой фургоне. По утрам я, можно сказать, никогда не видел отца, он выезжал очень рано, еще затемно. Иногда он ездил далеко, за четыре-пять лье, смотря по тому, где была ярмарка, и к восьми часам его товар уже лежал разложенный на лотках. Другой раз он отправлялся в какую-нибудь ближнюю деревню и возвращался рано.

Так оно и было в тот день. Видимо, тепло и черный дождь разморили меня, потому что я не двинулся с места; обычно я бежал в спальню родителей взглянуть в окно на большой четырехколесный фургон, на котором желтыми буквами красовалось: «Андре Лекер – ткани и конфекцион – зарекомендовавшая себя фирма».

Пару жеребцов звали Кофе и Кальвадос. А старика, который за ними ходил, сопровождал отца на ярмарки и спал над конюшней, звали Урбен.

Встрепенулся я, лишь услышав, что отец толкнул дверь черного хода, тогда как обычно, пока Урбен распрягал лошадей, он выгружал товар. В лавке был покупатель. Отец ждал, грея руки над плитой. Но вот звонок проиграл свои несколько ноток, сопровождаемый голосом матушки: «Добрый вечер, мадам, не утруждайте себя...»

– Мне надо с тобой поговорить... – сказал тогда отец. – Пожалуй, тебе лучше вызвать мадемуазель Фольен...

Отчего же я сохранил такое драматическое воспоминание об этом дне? Мадемуазель Фольен вызывали довольно часто. Делалось это очень занятным образом. Матушка поднималась в комнату, где я сидел и которую так и называли «комната», брала с камина подсвечник и стучала в стенку. Надо было стукнуть несколько раз. Наконец жужжание швейной машинки за стеной прекращалось (мадемуазель Фольен была портнихой).

– Мадемуазель Фольен? Вы не пришли бы посидеть в лавке?

Забавно было видеть, как моя всегда такая сдержанная матушка кричит во все горло, уставившись в стену, оклеенную обоями с яркими попугаями. А затем слышать звучащий словно из подземелья ответ:

– Сейчас иду, мадам Лекер!

Отец даже не снял плаща. Дождевые капельки дрожали на его белокурых усах, и он рассеянно бросил мне:

– Здравствуй, сынок...

Отворил дверь в спальню. Стук подков распрягаемых лошадей стал слышен отчетливее. Внизу матушка говорила мадемуазель Фольен:

– Вас это не очень затруднит?.. Просто не знаю, что бы я без вас делала...

И стала подниматься наверх. Сначала из отверстия в полу показалась ее голова с пышным валиком пепельных волос надо лбом и торчащим на макушке шиньоном, затем округлый корсаж, перехваченный в талии широким лакированным поясом, словно бы перерезавшим матушку пополам.

Она с тревогой посмотрела на отца, потом на меня, и я понял, что она не уверена, можно ли мне присутствовать при разговоре.

– Я был у тети Валери, – заявил отец, оглядывая наши две комнаты, будто нам предстоял переезд.

– Как она?

– Почти совсем обезножела... Женщина, приходившая к ней убирать, ушла из-за какой-то истории... Я предложил тете поселиться у нас...

Бедная матушка! Лицо ее выражало полнейшее смятение, рот от изумления и ужаса широко раскрылся, но она лишь слабым голосом пролепетала:

– З-здесь?

Отец снял наконец клеенчатый плащ и башмаки на гвоздях. Вошел в спальню и зажег газовый рожок:

– Я сейчас тебе объясню... Она намерена отобрать дом... Если потребуется, она в суд подаст. Понимаешь, что это значит?.. Мальчонка будет спать с нами... А для тети Валери поставим в комнате кровать.

– Но у нас нет кровати...

– Я купил на распродаже... Урбен сейчас внесет...

– А когда она собирается приехать?

– Завтра...

Дверь в спальню закрыли, и до меня теперь доносился лишь приглушенный шум голосов. Я посмотрел в окно. Помню, что в ту минуту во втором доме слева в ряду домов, стоящих перпендикулярно к нашему, я увидел Альбера: прижав лицо к стеклу, он за мной наблюдал.

Мы ни разу друг с другом не разговаривали. Вероятно, он был примерно одних лет со мной; впрочем, сказать трудно, потому что он все еще носил длинные локоны, как девочка, и одевали его не так, как других мальчиков.

Жил он с бабушкой, и они занимали совершенно одинаковую с нашей комнату над мучным лабазом, с таким же окном полумесяцем, поэтому если Альбера я видел всего целиком, то бабушку его лишь до пояса.

– Надо непременно найти! – вдруг выкрикнул отец.

Дверь распахнулась. Матушка разнервничалась, плакала, что, впрочем, случалось с ней довольно часто. Была она низенькая, пухленькая, и из-за густых пушистых волос голова ее казалась непомерно большой. Кожа очень светлая, глаза голубые.

– Я поищу на чердаке, – сказала она. – У тебя есть спички?

Она зажгла свечу, и я словно замороженный смотрел, как она поднималась прямо с пола к потолку по крутой винтовой лестнице, как толкнула плечом люк и исчезла. Тем временем отец критическим оком оглядел обе наши комнаты, пожал плечами и принялся разбирать мою складную кровать – она не пролезала в дверь. Над нами раздавались шаги матушки; она ворожала ящики, передвигала какие-то тяжелые предметы. За это время никак не меньше трех покупателей заходило в лавку. Посреди площади, где гулял ветер, перед крытым рынком, уже запертым в этот час, торговки засветили на краю прилавка ацетиленовый фонарь.

А дождь лил, лил, все черней, все непроглядней.

– Нашла?

– Кажется... Постой...

Очевидно, она взобралась на ящик. Посыпались какие-то картонки... Отец настороженно ждал, подняв лицо к потолку.

– Может, тебе помочь?

– Нет... Нашла...

Матушка спустилась с чердака, держа в руках черную рамку с треснутым стеклом, в которую вставлена была фотография женщины с буфами на рукавах.

– Это ты стекло разбила?

– Да нет же, Андре... Вспомни... Ты сам, ну когда ты так разозлился на нее... Ты выбросил фотографию в мусорный ящик, и если бы не...

Отец взглянул на меня, подошел вплотную:

– Послушай, сынок... Завтра приезжает тетя Валери... Она будет жить у нас... Смотри не вздумай повторять то, что про нее говорили.

Я долго ломал голову, да и сейчас еще ломаю, что, собственно, он имел в виду.

– Скажи, Генриетта... У малыша ничего другого нет надеть?

– Я собиралась заказать мадемуазель Фольен для него новый костюмчик.

– Может, тебе пойти купить ему что-нибудь попроще? Мне не хочется, чтобы тетя Валери приняла нас за...

Не помню уж, как он выразился. Отец казался озабоченным. Газ горел плохо. У нас всюду, за исключением лавки, еще стояли не газовые рожки, а простые горелки, и напор был слабый. Во всяком случае, верх горелки был всегда закопчен. Отец почти касался головой потолка полированного дерева. В катившихся по стеклам каплях отражались огни площади.

– Как будто у меня время есть!

– Мадемуазель Фольен еще побудет... Одевайся, Жером...

В доме поднялась кутерьма. День этот был из ряда вон выходящий. Помню сутолоку в низких, плохо освещенных комнатах, мою разобранную кровать и другую кровать, красного дерева, которую Урбен неуклюже втаскивал наверх по частям. Помню матушку перед зеркалом, втыкавшую шпильки в шиньон и натягивавшую сетку на пышные волосы.

– У него нет башмаков... – пробормотала она с зажатыми во рту шпильками.

– Ну и что же?

– Если я тебе об этом сообщаю, то потому, что ты всегда утверждаешь, будто...

Мои игрушки так и остались на полу.

– Поживее одевайся, Жером...

Матушка взяла из конторки деньги с тем грустно-смирненным видом, который всегда принимала в торжественных случаях.

– Вы уж меня извините, мадемуазель Фольен... Постараюсь обернуться побыстрее... Лишний человек в такой квартире, как наша... Ничего не попишешь!..

Улица и холодный дождь. Матушка держала меня за руку. Я отставал, и она тащила меня за собой; потом я вдруг прибавлял шаг и вырывался вперед.

– А что ты мне купишь?

– Костюмчик... Тебе нужно быть очень внимательным к тете Валери... Она старая женщина... И едва ходит...

Я не только никогда ее не видел, но почти ничего не слышал о ней, если не считать смутных упоминаний о существовании какой-то тетки.

Рыночная площадь тонула во мраке. Лавки освещались газом, в маленьких кафе стекла были матовые, у некоторых к тому же в замысловатых узорах.

Лишь угол улицы Сент-Йон выделялся ярко освещенным пятном; мертвенного, синеватого оттенка свет странно дергался и пульсировал: бакалейщик Визер, единственный на весь квартал, установил снаружи, над витринами магазина, мощные дуговые лампы.

– Я хочу охотничий костюм, – заявил я.

Мы шли быстрым шагом. Ветер дул нам в лицо, и мать держала зонт наклонно.

– Не попади в лужу...

А вокруг только ускользающие черные силуэты.

Мы вошли в большое двухэтажное здание магазина готового платья «Добрый пахарь».

– Для вашего сыночка, мадам Лекер?

Манекены. Пропахший табаком старик-приказчик, примеряя, дышал мне в лицо.

– Я хочу охотничий костюм...

– У вас есть охотничий костюм на его возраст?.. По-вашему, это будет прилично?

До сих пор я носил одни только матроски... Меня раздевали, одевали, поворачивали.

– Это не слишком марко?

Бедная матушка! Серый, в мелкую клеточку костюм, который она выбрала, был и без того неопределенного тона, до ужаса уныл!

– А воротнички к нему у вас найдутся?

Мне вручили картонку. Матушка надолго застряла у кассы, к тому же, как владелица торгового предприятия, она пользовалась десятипроцентной скидкой.

– Завтра приезжает мужнина тетя. Ума не приложу, как мы все поместимся, у нас и без того тесно...

Пропахший табаком приказчик преподнес мне комплект плохо отпечатанных загадочных картинок, давным-давно известных, вроде «А где болгарин?..».

В соседнем доме помещалась шоколадная фабрика, и снизу, из зарешеченных подвальных окон, на нас дохнуло жаркой сладостью.

– Не знаю, как быть с башмаками... на заказ уже не успеешь сделать... Ну ничего!..

Матушка была в своем черном суконном пальто в талию, с узенькой горжеткой из куницы.

– Ни во что не вмешивайся... А главное не сболтни, что мы заказываем у Нагельмакеров... Не то возмут дороже... Чулки у тебя по крайней мере целые, без дырок?

Снова на свет божий появилось большое черное портмоне. Все в тот день было черным: одежда матушки и прохожих, булыжник мостовой, окутанные мраком дома, само небо над нашими головами.

– А галстук? – заикнулся было я.

– Дома сколько угодно лент... Я тебе сама сделаю.

– Синий в горошек...

– Там будет видно... Смотри себе под ноги...

Я так редко гулял с матушкой, «рабой этой лавки», как она любила выражаться, что, если выпадал такой счастливый случай, она всегда водила меня в кондитерскую Хозе и угощала пирожным. Но сейчас матушка и не вспомнила о пирожных. Поглощенный мыслью о новом костюме, я тоже не вспомнил или, точнее, вспомнил, но когда мы уже миновали кондитерскую.

То мы шагали по безлюдным тротуарам едва освещенных улиц, то вдруг окунались в свет и оживление торгового квартала.

– Надо бы купить рыбы на ужин... – вслух размышляла матушка. – Хотя нет... весь дом провоняет...

Уж очень у нас было тесно! Сразу за лавкой квадратная комната – подсобное помещение: кухня и столовая одновременно, с круглым столом посередине и застекленной дверью, сквозь которую, отодвинув занавеску, можно было наблюдать за тем, что делается в лавке.

Так называемая «комната» над лавкой служила мне детской, а родители спали рядом, отделенные от меня деревянной, оклеенной обоями перегородкой.

– Да что ты тащишься, Жером!.. Хоть сегодня постарался бы не сердить меня...

Мы приближались к дому. Уже виден был мертвенный свет бакалеи Визера, и тут, именно на этом свете, мне бросились в глаза два человека: они бежали согнувшись, держа под мышкой кипы только что полученных на вокзале газет. В это время доставляли парижские газеты, но обычно продавцы никогда так не бежали.

Прохожие останавливались, провожали взглядом газетчиков, и на их лицах я заметил то же озабоченное выражение, какое поразило меня сегодня у отца с матерью.

– Газета «Пти паризьен»... Специальный выпуск... Расстрел Феррера!.. Читайте подробности смерти Феррера...

Я понимал: что-то назревает и весь день какой-то особенный. Первое тому свидетельство: газетчики никак не отдышатся от бега. Второе: пять-шесть мужчин – рабочие, купившие газеты, сошлись кучкой, и к ним тут же направились двое полицейских.

– Давай-давай!.. Расходись!.. Никаких сборищ...

Рабочие отходили медленно и неохотно. Полицейские бесцеремонно их подталкивали. Приказчики из бакалеи Визера в серых халатах стояли на пороге магазина вместе с покупателями. На что они глазят? Что тут происходит?..

– Читайте подробности казни Феррера...

Один из продавцов газет был в старом картузе с изломанным козырьком, что в моих глазах сразу относило его к категории тех, кого матушка называла оборванцами. Голос у него звучал хрипло. Казалось, он кому-то или чему-то бросает вызов. На нем даже не было пальто. Он бежал все так же согнувшись, а газеты его мокли под дождем.

– Читайте...

Я чувствовал вокруг какое-то скрытое удовлетворение, удовлетворение тем, что назревало, драмой, которая давно готовилась и наконец разыгралась.

– Господи... – вздохнула матушка, увлекая меня за собой, словно опасалась, что сейчас начнется драка.

– Читайте...

Сделав крюк, матушка перешла на противоположный тротуар, чтобы не проходить мимо рабочих, которые отступали нехотя, с явной досадой.

– Опять жди забастовок...

Неужели она обращалась ко мне?

Во всяком случае, дойдя до нашей двери, она вздохнула с облегчением. Правда, так бывало всегда. Матушке дышалось свободно лишь у себя в лавке, среди полок, забитых штуками коленкора. В лавке оказалось два или три покупателя, точно уж не помню. Даже не сняв с себя пальто, матушка встала за прилавком.

– Чем могу служить, мадам Жермен?.. Жером!.. Ступай наверх к отцу...

В комнате купленная на распродаже громоздкая кровать красного дерева заняла место моей. А мою поставили в спальню родителей, в проеме между двух окон. В наше отсутствие отец, должно быть, посылал Урбена за стеклом. Теперь, вооружившись блестящим маленьким инструментом, он резал стекло, чтобы вставить в рамку с портретом тети Валери.

– Мать нашла, что хотела?

– Она купила мне охотничий костюм и башмаки.

Окно полумесяцем не занавешивали. Я посмотрел на улицу и в доме напротив увидел Альбера – он ел тартинку с вареньем, – и еще я увидел подол черной юбки и черные войлочные шлепанцы его бабушки.

– Поддай-ка мне со стола гвоздь.

Забивая его, отец спросил:

– Что это кричат на улице?

– Расстреляли Феррера...

– Тем лучше!

Я так и не понял, к чему относилось отцовское «тем лучше». Он уже думал о другом.

– Если тетя спросит, давно ли портрет висит на стене, скажешь, что сколько себя помнишь. Понял? *Это очень важно... Будешь постарше, поймешь...*

Не знаю, когда матушка успела раздеться и когда ушла мадемуазель Фольен. Газетчики, пробегая по площади, выкрикивали новости.

Немного погодя покупательница сообщила матушке:

– В кафе Костара была свалка. Одного забрали в участок... Весь нос ему расквасили...

В тот вечер я скоро уснул, но спал беспокойно и всякий раз, просыпаясь, слышал, как отец с матушкой шептались в постели. Мне мешал непривычный свет газового фонаря в ремесленном дворе, луч от него ложился полосой как раз над моей кроватью. А дождь все лил...

Утром матушка разбудила меня со словами:

– Одевайся скорей! Приезжает тетя... Главное, будь к ней очень внимателен.

Отец давно отбыл с фургоном, парой жеребцов и стариком Урбенем. У нас в доме могло произойти любое, но родители оставались «рабами торговли», как любила повторять матушка. Фургон Андре Лекера, *зарекомендовавшая себя фирма*, должен был неукоснительно появляться на всех ярмарках, а матушка столь же неукоснительно, ровно в восемь, открывать ставни лавки.

Она постучала в стену:

– Вы можете сейчас прийти, мадемуазель Фольен?

Родители пользовались каким-то розовым, очень духовитым мылом, а мне разрешалось мыться только глицериновым, будто бы более полезным для кожи.

– Ты ее поцелуешь... И скажешь: «Здравствуйте, тетя...»

Матушка стояла в корсете, лифчике и пышных панталонах и натягивала нижнюю юбку. По-прежнему лил черный дождь, и в восемь утра свету было не больше, чем в три часа пополудни, когда уже начинало смеркаться.

День был не базарный. Лишь дважды в неделю, в базарные дни, торговля захватывала всю площадь и распространялась на окрестные улицы. В обычные же дни занято было всего несколько прилавков, где торговали в основном маслом, яйцами, овощами и рыбой, доставляемой из Пор-ан-Бессэна и Трувиля.

В одном я завидовал Альберу: и дом его, и окно полумесяцем были расположены так, что он каждое утро мог наблюдать прибытие местного поезда. А я нет.

Конечная станция находилась сразу же за зданием крытого рынка, и со своего наблюдательного поста я хоть и слышал лязг, пыхтение паровоза, свист пара, но видел только дым над шиферной крышей рынка.

– Ты готов, Жером?

– У меня нет галстука.

– Я тебе сделаю, когда спустимся в лавку...

Сделала, называется! Не переставая болтать с мадемуазель Фольен, она отхватила ножницами кусок голубой ленты шириной в два пальца и завязала таким уродливым узлом, что, взглянув на него, я чуть не заревел.

– Идем скорей... Главное, будь полюбезнее с тетей...

На площади люди, укрывшись зонтами и стоя под тентами витрин, читали газеты. Только что прибыл «Пти норман»... «Казнь Феррара»... «Облава на анархистов»...

Все это, видимо, взволновало матушку. Она шла очень быстро, словно бы лавируя среди невидимых опасностей. Запах сыров, затем рыбы... Мы шли напрямик через крытый рынок... А вот и мясной ряд...

– Отличная баранья ножка, мадам Лекер...

Как бы прося извинения, матушка отвечала слабой улыбкой: она всегда боялась кого-нибудь обидеть или огорчить.

– Спасибо... Сегодня нет...

Я не знал, что еще до моего пробуждения она в честь приезда тети Валери купила курицу.

– Постой здесь, Жером... Я пойду справлюсь насчет поезда...

Я стоял рядом с писсуарами. Напротив, в маленьком кафе, закрывавшемся уже в полдень, когда расходилась основная клиентура – рыночные торговцы, посетители спорили за чашкой кофе.

Матушка раскрыла зонтик, вышла было на улицу, вернулась и опять мне наказала:

– Главное, никогда не упоминай о том, что мы про нее говорили... Тебе этого не понять...

Откуда-то, совсем издалека, попутный ветер принес протяжный гудок. Потом показался кургузый паровичок, потом на повороте, один за другим, три вагона с мокрыми крышами и стеклами, запотевшими изнутри и покрытыми капельками снаружи.

Перрон заполнили люди, клетки с курами, утками, круги сыра, мужчины в темно-синих блузах и деревянных башмаках, старушки в вязаных шالях.

– Стой здесь...

Матушка бежала вдоль поезда. Я видел, как она помогла сойти огромной тучной старухе, более объемной, чем отец и мать, вместе взятые, с широким, оплывшим лицом, дряблым тройным подбородком и темными усиками над верхней губой.

Старуха даже не пыталась улыбаться. Она возмущалась чем-то. Потребовала контролера, который рассыпался перед ней в любезностях.

– Подойди, Жером.

Все это не внушало доверия. Я медленно приблизился.

– Поцелуй тетю... поддержи над ней зонт, пока я займусь багажом.

Тетя Валери пробурчала:

– Так это ты и есть, малыш?

– Здравствуйте, тетя...

– Здравствуй, племянник...

Из приличия она поцеловала меня, и мне едва не сделалось дурно от незнакомого до сих пор запаха, видимо свойственного старикам.

– Н-да! Веселенькое местечко... Генриетта!.. Не забудь маленький саквояжик, в нем...

Она пыхтела, когда разговаривала. Пыхтела, когда двигалась. Оглядывала все и всех подозрительным и брезгливым взглядом.

– Не понимаю, чего возится твоя мать...

Чего возится? Собирала бесчисленные сумки и свертки тети Валери и пыталась ухватить их двумя руками, – в конце концов, у нее было всего две руки.

– Пройдемте сюда, тетя... – учтиво предложила матушка, нагруженная свертками, теперь она одна занимала полтротуара.

– Ну нет, уволь!.. Не терплю запаха рынка...

Пришлось обойти вокруг рынка, под дождем. Я поднял глаза и увидел Альбера, сидевшего в маленьком креслице возле окна. Он тоже на меня посмотрел. Мне было стыдно за тетю Валери.

Вошли в дом.

– А, ты взяла продавщицу?

Это прозвучало как обвинение.

– Да нет, тетя. Просто мадемуазель Фольен время от времени так любезна...

Прошли в заднюю комнату. Тетя рухнула в отцовское плетеное кресло, которое под ее тяжестью жалобно заскрипело.

– Ну и путешествие! Господи, ну и путешествие... А мужа твоего разве нет дома?

– Вы же знаете, что такое торговля, тетя... Сегодня ярмарка в Лизье, и...

– Ладно уж!.. Ладно!.. Ну ты, бутуз... Расшнуруй мне ботинки... Домашние туфли в коричневом саквояжике... Только осторожно... Там еще бутылка...

Я посмотрел на матушку. Она дважды опустила веки, и я заметил, что она бледнее обычного, только на скулах у нее горели два розовых пятнышка.

Тогда я стал на колени перед тетей Валери и принялся дергать липкие от грязи шнурки.

II

– Уверяю вас, тетя, наверху вам будет покойнее! И малыш вас развлечет...

Продавая меня всего с потрохами, матушка, разумеется, не решилась взглянуть мне в глаза. Тетя Валери словно тяжким грузом придавила всю нашу жизнь, и это длилось уже целых три дня. По ночам я слышал, как отец шептал матушке на ухо:

– Когда же старая тюлениха наконец уgomонится?

Тетя ворочалась в кровати всей своей грузной тушей; казалось, она привстает и с размаху валится на другой бок – усилие, после которого она долго отдувалась, а то и стонала.

Но если я пытаюсь доказать матушке, что мерзкая семидесятичетырехлетняя старуха проделывала все это нарочно, что, мучаясь бессонницей одна, в потемках, она злилась на наш сладкий сон и посапывание за тонкой перегородкой и в отместку, собравшись с силами, при-вставала и шумно валилась на кровать, матушка только вздыхает:

– Господи, Жером! Ты всегда думаешь дурное о людях...

Но разве сама-то она не старалась отделаться от тети Валери, загнав ее ко мне наверх? Впрочем, я знаю, что ответила бы мне матушка: «Это из-за торговли...»

А также, разумеется, из-за нашего старого и неудобного жилья. Кухня была чересчур мала. Стоило даже в самом разгаре зимы затопить плиту, как через полчаса уже становилось нестерпимо жарко, а от поставленной на огонь кастрюльки супа стены запотевали, и по ним стекала вода. Тут волей-неволей приходилось распахивать дверь в лавку. Первые дни тетя Валери провела, сидя в отцовском плетеном кресле, но вдруг из кухни слышался треск – это тетя Валери с трудом поднималась на ноги и непременно когда в лавке было полно народу; вся ее рыхлая глыба, колыхаясь и пытаясь, приходила в движение и башней воздвигалась над прилавком, отчего матушка мгновенно лишалась дара речи.

– Мы перенесем ваше кресло наверх, тетя Валери...

Она, собственно, была не моей, а отцовской теткой.

– Вот увидите, возле печной трубы очень тепло...

У меня отбирали мое место! Но ей все было мало! Не прошло и часа, как тетя, кряхтя, протиснулась по винтовой лестнице вниз и заявила матушке:

– Если ты полагаешь, что я намерена целый день мерзнуть, – только и тепла что от печной трубы...

Вечером отец обегал весь город. Он вернулся с невиданным мною прежде предметом, доставившим мне впоследствии немало радости. Теперь я знаю: это называлось керосиновой печью. По существу, это была большая керосинка, накрытая ящиком из листового железа, сохранявшим тепло. Вокруг горелки шла полоска слюды, сквозь которую просвечивало трепещущее пламя, бросавшее красноватые блики на паркет.

Спущенное было вниз плетеное кресло вновь втащили наверх. И, сидя на полу, рядом со своим любимым местом, я отныне видел на расстоянии меньше метра черную юбку и войлочные туфли тети Валери.

Дождь все лил, и каждое утро, едва проснувшись, я спешил удостовериться, идет ли он еще. Как раз под моим полукруглым окном вдоль фасада проходил железный карниз сантиметровой в тридцать шириной, защищавший полотняную, в красную полоску, маркизу, которую опускали летом. Капли воды на железе играли в захватывающую, постоянно меняющуюся игру. Шлепаясь, они растекались сложным живым рисунком, чем-то напоминающим географическую карту в движении. Я все надеялся увидеть, что получится из рисунка, если дать ему дожить свою жизнь до конца. И рисунок, казалось, тоже на это надеялся, потому что менялся очень быстро; но только он начинал складываться, как падала новая капля и новый рисунок путал и уничтожал предыдущий.

– Твой сын? Мне сдается, он немного придурковат!

Пусть матушка попробует утверждать, что тетя Валери не отозвалась так обо мне однажды, когда я сидел в уборной, оставив, по обыкновению, открытой дверь в коридорчик, ведущий в ремесленный двор! И разве матушка не ответила:

– Он у нас слабенький...

И станет ли она отрицать, что как-то вечером шепнула отцу:

– Просто ужас какой-то! С тех пор как приехала твоя тетка, в уборную не войдешь – такая там вонища...

Я не зря настаиваю на подобных мелочах. Я целиком прав, но под тем предлогом, что мне в ту пору было, мол, всего семь, скажут, будто я по-ребячьи фантазировал или все преувеличивал.

Уже на третий день по приезде тети Валери я почувствовал, что она меня ненавидит. Я даже могу примерно определить, какого рода была эта ненависть.

Я вижу, как она сидит в своем плетеном кресле или, вернее, в плетеном кресле отца (бедняге с ее переселением к нам пришлось довольствоваться стулом) и весь день палец о палец не ударяет.

– Вы не хотите что-нибудь связать, тетя Валери?

– Благодарю покорно, милочка! Никогда в жизни не вязала и на старости лет учиться не собираюсь...

– Так чем бы вам заняться? Желаете, Жером сходит в библиотеку, возьмет вам книжку почитать?

Тетя Валери качала головой. Нет! Она ничем не желала заниматься и ничего не желала делать! Она покоилась в кресле с подернутыми влагой глазами, в которой плавали ядовитые горошинки зрачков.

Она не глядела на улицу, не интересовалась рыночной толчеей. Она глядела только на меня. И злилась, что я сижу на полу, окруженный своими зверями и игрушечной мебелью; злилась, что я способен без конца следить за тем, как вновь и вновь рождаются на железном карнизе водяные рисунки; злилась, что я...

Отпустив очередного покупателя, матушка взбегала наверх, как всегда, свежая и опрятная, как всегда, в клетчатом фартуке с развевающимися на плечах крылышками.

– Вам ничего не надо, тетя Валери?... Малыш не шалит?..

Именно в то утро разговор зашел о бабушке Альбера. Почти каждый день, в один и тот же час, я видел, как она выходила из двери, примыкавшей к мучному лабазу. Я частенько недоумевал, как это Альбер остается совершенно один; я даже тревожился, так как мои родители никогда не оставили бы меня дома одного.

Звали ее мадам Рамбюр. Она была высокая, сухопарая, с ровным сероватым лицом и в перчатках такого же серого оттенка. Она бросалась в глаза хотя бы потому, что в отличие от всех прочих женщин отправлялась за покупками одетая как на парад: в шляпке, лиловой вуалетке и с ридикюлем на серебряной цепочке.

Не обращавшая ни на что внимание, тетя тем не менее сразу заметила мадам Рамбюр, и я, не давая себе в том ясного отчета, догадывался: так оно и должно быть.

– Что это за фря такая? Воображает о себе слишком много!

Но мадам Рамбюр ничего о себе не воображала. Одетая как бы в полутраур, она просто держалась с достоинством. Конечно, она осторожно приподнимала юбку, переступая через капустные отбросы или лужи, и остерегалась прислоняться к прилавку. Равно как остерегалась отвечать на зазывания торговки и, для того чтобы купить самую малость, дважды обходила весь рынок.

– Несчастливая женщина... – вздохнула матушка. – Я как-нибудь вам подробно расскажу... Муж ее занимал видную должность... Если не ошибаюсь, в интендантстве... А сын негодяй...

Он уже... – Она понизила голос, но мне все равно было слышно: – Он уже дважды сидел в тюрьме... Внука она к себе взяла, у него чахотка... Живут в двух комнатах, неизвестно даже на что...

Два слова поразили меня: «тюрьма» и «чахотка». Я посмотрел на окно Рамбюров и увидел Альбера: он сидел в своем креслице и листал книжку с картинками. Может, это он от чахотки так похож на девчонку? Но почему его водят всем на потеху с длинными локонами? И почему одевают так чудно? В тот день, например, на нем была синяя бархатная матроска, такую носил и я до того, как мне купили охотничий костюм. Но вместо воротника с полосками на него надели большой белый репсовый воротник, обшитый кружевами.

Тетя Валери осмотрела его и промолчала. Ей, видно, приятно было сознавать, что хоть этот болен. Но тут в лавке звякнул колокольчик. Матушка исчезла в лестничной клетке. Я услышал голос часто заходившей в лавку рыбной торговки, она жаловалась:

– Уж и не знаю, что с нами будет, все забастовки да забастовки...

Я стал расспрашивать тетю:

– Что такое забастовка?

– Это когда рабочие не хотят больше работать.

– И что же они тогда делают?

– Дерутся с жандармами и перерезают бритвой сухожилия лошадям... – Лицо ее дышало злобой. Маленькие, подернутые влагой глазки вперились в меня. – Если так дальше пойдет, не миновать революции...

Вот тут я и почувствовал, что она меня ненавидит. Она ненавидела меня не так, как ненавидят кого-нибудь взрослые, а как мог бы меня ненавидеть завистливый сверстник. Почему же я все-таки продолжал ее расспрашивать?

– А кто такой Феррер?

– Анархист...

– А что такое анархист?

– Тот, кто хочет сделать революцию и бросает бомбы...

На то, чтобы переварить все это, мне требовались часы, а то и дни, и, мгновенно забыв про тетю Валери, я вновь погрузился в созерцание дождя, железного карниза и рынка с молочно белевшими, как большущий глаз, часами; но сквозь все это, будто сквозь филигрань, мне более или менее отчетливо представлялись другие картины: чахоточный Альбер, с его сидевшим в тюрьме отцом, анархисты, Феррер, рабочие, которые перерезают сухожилия лошадям...

Мне случалось подолгу так забываться, а потом я, вздрогнув, просыпался. На этот раз от моих грез меня оторвал тетин голос. Она сунула руку себе под юбку и извлекла мелочь.

– На!.. Сходи возьми мне журнал, все расхватывают, читают...

Я посмотрел на площадь; вокруг киоска толпились люди, показывая друг другу иллюстрированный журнал. Я бегом спустился вниз.

– Куда ты? – забеспокоилась матушка.

– Купить журнал тете Валери.

Насколько я помню, это был «Пти журнал иллюстре». На цветной обложке фотография остриженного бобриком усатого мужчины с темными глазами. «Анархист Феррер».

А на тыльной стороне другая цветная картинка: какой-то двор, стена, стоящий человек с завязанными глазами и солдаты, вскинувшие ружья. «Казнь Феррера».

Это меня потрясло. Я поднял голову: Альбер смотрел на меня, смешно приплюснув нос к стеклу. Я почувствовал, что он мне завидует; может, тому, что я на улице с непокрытой головой под дождем, а может, тому, что у меня в руках иллюстрированный журнал.

– Одним меньше, и то неплохо! – немного погодя с удовлетворением провозгласила тетя. – Пойди принеси очки. Когда прибудет «Пти паризьен», не забудь мне купить...

Как удавалось это матушке, не представляю. Когда я утром в половине восьмого спускался вниз, полы в лавке и на кухне были вымыты, кофе сварен и стол накрыт. Каким чудом, никогда не теряя из вида прилавка, она ухитрялась все закупать? Когда чистила картошку и ставила варить суп?

И всегда она была опрятна, даже щеголевата, как выражался отец. Да еще каким-то образом успевала прогладить нижнее белье, заштопать мне чулки и даже сшить кое-что из одежды.

– Пойди спроси мать, когда же мы сядем за стол...

Туша тети Валери приходила в движение; чтобы спуститься по узкой кишке винтовой лестницы, ей требовалось добрых две минуты.

– А где сегодня пропадает твой муж?

– Он уехал в Пор-ан-Бессэн... Вернется поздно...

– Словом, ты его почти не видишь.

– Только вечерами... Что поделаешь, торговля...

Из-за той же торговли я часто пропускал занятия в школе и почти не помню, когда гулял с матушкой, – лавку открывали даже по воскресеньям.

Послеобеденные часы прошли без особых происшествий. Тетя Валери дремала в кресле, в комнате сгущались сумерки. Уборщики, одетые в робы, как моряки, мыли из шлангов рынок, а в три часа прошел фонарщик и зажег газовые фонари.

Сквозь матовые стекла кафе Костара мне не видно было, что делается там внутри. Но я различал движущиеся силуэты, и мне показалось, что в тот день там больше народу, чем обычно. Время от времени дверь распахивалась, и на улицу, словно дожидаясь чего-то, выглядывал рабочий. Я понял, в чем дело, когда появился газетчик; человек купил у него целую пачку газет, а немного погодя до меня донеслись крики спорщиков у Костара.

– «Пти паризьен»... – внезапно проснувшись, напомнила тетя Валери.

Я помчался за газетой.

– Зажги свет, – приказала она.

– Матушка не велит мне...

Чтобы зажечь газ, надо было взобраться на табуретку.

– Так скажи ей, чтоб сама пришла зажечь.

В лавке были покупатели. Матушка все же пришла, но голова у нее была занята другим. Она даже не взглянула на нас. Прежде всего торговля! Я опять уселся у окна. Перед кафе Костара взад и вперед прогуливался полицейский.

– Читать ты хоть умеешь? – осведомилась тетя.

– Умею...

– Тогда прочти вот это.

– «За-бас-товки-на-Севере-при-ни-ма-ют-у-гро-жа-ю-щий...»

– Ты не можешь читать побыстрее?

– «...гро-жа-ю-щий-ха-рак-тер-на-место-прибыл-ми-ни-стр-вну-вну...»

– Внутренних дел! – нетерпеливо выкрикнула она.

– «Вну-трен-них-дел-жан-жан...»

Моя усатая тетя глядела на меня, как толстый паук, вероятно, глядит на запутавшуюся в его паутине беспомощную мошку.

– ...дармерия!

– «...дар-ме-рия-а-та-ко-ва-ла-ма-ма-ни-фес-тан-тов...» – Я поднял голову. – Что это значит?

– Что жандармы погнали лошадей на манифестантов... Читай дальше... Поймешь...

– «На-счи-ты-ва-ет-ся-двенадцать-убитых-и...»

– Сорок раненых! – досказала она со злобным торжеством.

Я по-прежнему сидел на полу по-турецки среди своих игрушек, газета лежала у меня на коленях, а за мной синело окно, усеянное дождевыми капельками – теми же звездами, и, по сравнению со мной, тетя в кресле возвышалась как монумент.

– Что я тебе предсказывала? Если б ты читал побыстрей, то узнал бы, что в Сент-Этьене они шли по улицам двенадцать часов подряд.

Я посмотрел на улицу. Представил себе ряды рабочих в картузах, в темных комбинезонах, безостановочно шагающих под нашими окнами, конных жандармов, бритвы...

– Но здесь же нет забастовок... – прошептал я.

– Потому что нет заводов, кроме сыроваренного... Но погоди, если это революция, они и сюда явятся!

Клянусь, я почувствовал здесь игру. Тетя, конечно, куда больше моего боялась революции, но ей нравилось меня пугать. Ее бесила моя безмятежность, моя способность часами мечтать, и она нашла способ смутить мой душевный покой.

– Они всех убьют?

– Всех, кого смогут убить...

– И отца тоже?

– Его в первую очередь, он же торговец.

Тогда я решил отомстить:

– А вас, тетя, они убьют?

Я входил во вкус игры. Тоже становился злобным.

И уж не знаю, как придумал:

– Воткнул вам штык в живот!

Да, да, штык, вонзающийся в толстый, дряблый живот тети Валери, и все, что оттуда вывалится...

– Никакого уважения! – прорычала она, вырывая у меня газету.

Но я уже закусил удила. Тем хуже для нее!

– Вспорют и кишок напустят полную комнату...

– Сейчас же замолчи, грубиян!

– Потом напихают сена и кожу зашьют...

Я хохотал до слез, почти истерически. До икоты. Готов был придумать невесть что, говорить любые дерзости. И в то же время не осмеливался взглянуть на улицу. Мне представлялось, что там лошади, главное – лошади, и жандармы верхом, в касках, с саблями наголо, и черные бегущие фигурки, они увертываются, наклоняются и бритвами перерезают сухожилия лошадям...

– Хорошо же тебя воспитали родители...

Она замолчала, еще не остыв от гнева, уставив студенистые глаза на газету. Моя лихорадка улеглась, как опадает молоко, лишь проткнешь пенку. Когда я посмотрел на улицу, полицейский, поднявшись на цыпочки, заглядывал поверх матового стекла в кафе Костара. По отопительной трубе ко мне доносился мирный голос матушки.

– Всегда выгоднее брать первосортный товар, – заверяла она покупательницу. – За шитье платишь столько же, а износу не будет...

Она, видимо, отмеряла, проворно натягивая материю, метр за метром. Метр был врезан непосредственно в прилавок. Штуку разворачивали. Сухой лязг ножниц, когда делался надрез, и треск разрываемой ткани.

– Больше вам ничего не требуется? Может, фартучки для ваших малышек? Я только что получила очень недорогие и на все роста...

Но нет! Видимо, у покупательницы денег было в обрез. Для меня покупательницы навсегда останутся простоволосыми женщинами, чаще всего в черном, с наброшенным на плечи шерстяным платком, с цепляющимися за юбку ребятишками, которым они шепчут:

– Да стой же смирно! Вот скажу отцу...

В руке кошелек. Взгляд суровый.

– Почему?

– Двенадцать су за метр, ширина восемьдесят...

Пока в уме производится подсчет, губы не перестают шевелиться.

– А подешевле не найдется?

Видел я и таких, которые, уходя, бормотали:

– Посоветуюсь с мужем...

Почему это напомнило мне мадам Рамбюр с ее покупками, исполненную достоинства, печальную и не смеющую отвечать на призывы рыночных торговки, бабушку Альбера? Может, она тоже считала в уме? Матушка говорила: ведь у них почти нет денег. Значит, они бедные. И, обходя подряд прилавки, она все время подсчитывала, выискивая, что бы такое купить подешевле и в то же время попитательнее для внука.

– Тебе надо хорошо питаться и окрепнуть! – повторяла матушка, если я отказывался от какого-нибудь блюда. – Не то захворает чохоткой.

А как же чохоточный Альбер?..

Я увидел мадам Рамбюр. Она сидела неподалеку от окна. Она была видна мне лишь до пояса, на коленях у нее лежала развернутая газета, тот же «Пти паризьен». Альбер рядом с ней пил что-то дымящееся, то ли кофе с молоком, то ли шоколад; и время от времени я видел, как шевелятся его губы, когда он разговаривает с бабушкой.

Я-то знал, почему не гуляю по четвергам, как другие мальчики.

«Если завел торговлю...»

Да еще матушка не желала, чтобы я играл с уличными мальчишками.

Ну а Альбер почему не гуляет? Из-за чохотки? Знает ли он, что болен? Знает ли, что отец его сидел в тюрьме?

Тетя Валери, кряхтя, встала и, даже не взглянув на меня, спустилась вниз. Наступил ее час. Она шла в «одно местечко». Потом тетя уже не поднимется вверх и, к ужасу матушки, появится в лавке с такой миной, от которой покупателям впору разбежаться.

Раньше родители могли беседовать между собой о чем угодно, не боясь, что я их услышу. Хотя бы потому, что ложились позже. К тому же нас разделяла перегородка, и, если до меня смутно доносились их голоса, слов я разобрать не мог.

Теперь это стало невозможно. После ужина тетя Валери оставалась внизу до последней минуты. И так как я спал теперь в спальне родителей, то слышал все, о чем они перешептывались.

– Сидит рядом с плитой, видит, что горит, и не подумает снять кастрюльку или позвать меня! – жаловалась матушка. – Ни за что на свете картофелинки не почистит...

И что бы сейчас ни утверждала матушка, я собственными ушами слышал, как отец вздыхал:

– Ей семьдесят четыре, и у нее диабет...

А немного погода:

– Все-таки у нас будет собственный домик в деревне...

Чего я никак не мог понять, так это истории с Буэнами и пресловутым домом в Сен-Никола, поскольку тетя говорила об этом главным образом по вечерам на кухне, когда я был уже в постели.

Как-то, не так давно, я напомнил матушке, что слышал тогда, но она сразу возмутилась:

– Ты преувеличиваешь, Жером... Странно, что всюду ты выискиваешь одно только дурное...

Однако дома она не получила, и я оказался прав, как прав был в отношении той, несравненно более серьезной истории, которая случилась позже.

Эта история – я не нахожу другого слова – началась именно в тот вечер с газетами, вечер проткнутого штыком живота – словом, в вечер того самого дня, когда мы с тетей Валери разругались, как двое сопливых уличных мальчишек, разругались так, что тетя, будь это в ее власти, каталась бы, сцепившись со мной, по полу и мы бы кусались и царапались за милую душу.

Она меня ненавидела. Я ее не терпел. И продолжал думать о ней, когда она уже спустилась; я глядел на улицу, но злорадно представлял себе ее огромную тушу, втиснутую в нашу действительно крошечную уборную.

Мылась ли она когда-нибудь? В отделенном кретоновой занавеской углу комнаты ей поставили умывальный столик с кувшином и тазом, а под ним ведро для грязной воды. Но удивительно, что, когда матушка в шесть утра проходила через ее комнату разжечь в кухне плиту, тетя сидела совершенно одетая, а мыльной воды в тазу было на самом доньшке. Воду из таза приходилось сливать матушке. Тетя Валери не желала ничего делать. За всю жизнь она не взяла в руки половую тряпку.

До того как выйти замуж за Буэна, она служила в почтово-телеграфном ведомстве, а он – в налоговом управлении. Буэн был уроженцем Сен-Никола, родители его были крестьяне. Молодая чета получила назначение в Кан и на протяжении тридцати лет каждый работал сам по себе. Как я узнал впоследствии, у них был ребенок, который родился мертвым, что меня несколько не удивляет.

– Это несчастье и ожесточило бедную тетю... – вздумала однажды заявить мне матушка. – Не говоря уж о том, что для женщины всю жизнь проработать в конторе...

А как же сама матушка с ее торговлей?

Я представляю себе Буэнов, выходящих одновременно в отставку, поселяющихся в Сен-Никола, в доме, купленном на сбережения, и живущих там на свои две пенсии.

Другие Буэны, те, что остались в деревне, их не выносят. Супруги ни с кем не знают. Вижу их в фруктовом саду, а зимой в низеньких комнатках, они смотрят на оголившийся сад под дождем.

Затем Буэн умирает... И тут только началась настоящая жизнь тети Валери. Каждое воскресенье она ходит на кладбище, а затем ее прибывает к нам.

– Ей скорее можно посочувствовать, чем осуждать...

Еще одна любимая присказка матушки! Странная, право, женщина, с ее розовой кожей, несоразмерно большой головой, пышным валиком и шиньоном льняных волос и пухленькой фигуркой, разделенной пополам, наподобие дьяболо, широким лакированным поясом!

– Жером!.. Жером!.. Иди подсоби отцу...

Я не услышал рожка. По вечерам обычно предстояла большая работа: надо было внести товар в помещение, разобрать, отложить подмоченные и мятые штуки, которые матушка после ужина проглаживала, готовя на завтрашний день. Ремесленный двор почти не освещался. Урбен был вечно пьян, на что давно перестали обращать внимание. Для нас он скорее являлся принадлежностью конюшни, где спал, чем дома, и мысль, что он мог бы по-человечески сесть с нами за стол, даже никому в голову не приходила.

Незадолго до ужина он являлся на кухню, оставив за порогом деревянные башмаки, и протягивал котелок, куда ему валили все: суп, мясо, овощи. Он сам так хотел. Даже рыбу! После чего он исчезал в своем логове.

– Тетя здорова? – осведомился отец, передавая мне штуки ситца в мелкий цветочек.

– Она говорит, что революция...

– Откуда она знает?

– Из газет.

Свет от фонаря падал на лицо отца. Я увидел, как он нахмурился.

– Это уже в газетах?

Затем, роясь в фургоне, пробормотал:

– Нет, быть того не может...

Я таскал товар на кухню. Немного погодя займемся сортировкой. Цепляя плащ на вешалку в коридоре, отец повел носом, – может, он унюхал запах тети.

Матушка еще пропадала в лавке: сворачивала развернутые после обеда материи. Но все же вышла на кухню встретить отца.

– Что-то случилось, Андре?

Тетя Валери со свирепым видом ждала, чтобы мы наконец сели за стол: время наших трапез не совпадало, видите ли, с ее привычками.

Отец понизил голос:

– В Париже в карету президента республики и румынского короля бросили бомбу... Их даже не задело. Убит один национальный гвардеец. Его лошадь буквально взлетела в воздух... Я узнал, потому что меня по дороге останавливали. Все жандармерии оповещены по телефону...

Я сидел на своем месте, разглядывая клеенку, заменявшую нам скатерть, – все поменьше стирать, опять-таки из-за знаменитой торговли!

Мутные, с прозеленью глаза тети медленно обратились ко мне, сверкая злорадством и будто говоря: «Ага! Что я предсказывала?..»

Меж тем матушка, указав на меня движением подбородка, поспешно проговорила, обращаясь к отцу:

– Расскажешь после ужина!

Но было уже слишком поздно.

III

Была пятница – день, когда приходила мадемуазель Фольен. Она явилась, как обычно, без пяти восемь, простояв раннюю обедню. Я, с повязанной вокруг шеи салфеткой, ел яйца всмятку. Успевшая позавтракать тетя Валери, шаркая войлочными туфлями, тяжело, ступенька за ступенькой, одолевала винтовую лестницу. А матушка – та, вероятно, уже начала прибираться. Я уверен, что, как всякую пятницу, она кинула мне умоляющий взгляд. И, как всякую пятницу, я надулся.

– Здравствуйте, мадам Лекер. Здравствуй, мой маленький Жером...

От ее намочшего под дождем пальто пахло овчиной. Она была вся в черном, включая митенки. Она наклонилась. Сунула мне в руки большой кулек с конфетами – бумага тоже отсырела. Как видно, горел газ, потому что от кулька на стол падала тень.

– Что надо сказать? – проговорила матушка, которую эта еженедельно повторяющаяся сцена всегда повергала в смущение.

– Спасибо.

– Спасибо кому?

И в то время как старая дева меня целовала, я прошептал настолько тихо, что мог себя убедить, будто не сказал ничего:

– Тетя...

Мадемуазель Фольен не была моей тетей. Но она часто приходила к нам посидеть в магазине и раз в неделю шить, и матушка велела мне так ее называть.

– Но почему, раз она мне не тетя?

На что матушка строго отвечала:

– Она носила тебя на руках, когда ты только-только родился... Если бы ты знал, как я ей обязана!..

Но все детство я упрямился.

– Поцелуй тетю Фольен!

Ни разу я не прикоснулся губами к ее увядшему лицу. Я запрокидывал голову. Более или менее, скорее – менее, касался его щекой, а она делала вид, что не замечает моего отвращения.

А ведь нельзя даже сказать, чтобы мадемуазель Фольен была уродлива. Она мне казалась старой, но вряд ли ей тогда перевалило за сорок, она и сейчас еще жива и, верно, занимает ту же самую комнату, где провела всю свою жизнь. Когда случилось несчастье, именно мадемуазель Фольен похоронила моего отца, а позже, когда я был уже взрослым молодым человеком, она же одолжила мне все свои сбережения, при обстоятельствах, которые я предпочитаю не вспоминать.

Я не желал называть ее тетей. Она приходила без пяти минут восемь из боязни недодать нам хотя бы одну минуту. И в то же время отказывалась брать деньги за те многие часы, которые по другим дням проводила у нас, заменяя матушку в лавке.

У нее был высокий лоб, глаза китаянки или куклы и большая брошь в виде камеи, пристегнутая к черному шелковому корсажу, под которым не было даже намека на женские формы.

И хоть бы я съедал конфеты, которые она считала себя обязанной приносить по пятницам, – нет, потому что они были облиты цветной глазурью.

– Не надо ей говорить об этом... Я куплю тебе другие... – Так решила матушка.

И на следующий день конфеты съедали два наших жеребца – Кофе и Кальвадос!

Мадемуазель Фольен никогда не приходила с пустыми руками. Это была у нее даже какая-то страсть. Ей всегда представлялось, будто она делает слишком мало, остается в долгу,

тогда как я совершенно уверен, что платили мы ей за полный рабочий день никак не больше двух франков, ну и еще кормили обедом и в четыре часа давали чай.

Если она из отцовских старых брюк перекраивала мне штанишки, то захватывала из дому кусок сатина или тафты на подкладку.

– Незачем брать хороший товар из лавки... – говорила она. – У меня остались лоскуты от мантио, которое я на прошлой неделе шила мадам Донваль...

Когда мы в то утро поднялись в комнату, тетя Валери сидела наряженная в шелковое платье, словно собралась в гости.

– Ты мне поможешь, Жером? – попросила мадемуазель Фольен.

Надо было подтащить к свету задвинутую в угол швейную машинку, на которой, сколько я себя помнил, никогда не было крышки. Вероятно, отец купил ее, подобно большинству вещей у нас в доме, на какой-нибудь деревенской распродаже.

Мадемуазель Фольен с удовольствием посматривала на керосиновую печь и на яркое красное пламя; она всегда зябла и по утрам бывала пугающе бледной, словно только что поднялась с постели.

– Она страшно малокровна, – вздыхала матушка.

Потом помню тетю сидящей в кресле в выходном платье и в золотой цепочке, стрекотанье швейной машинки, обрезки материи на полу и за решеткой дождя, более редкой и сквозной, чем все последние дни, часы на рыночной площади, показывающие девять.

Свисток местного поезда. Белые клубы пара позади крытого рынка заволакивают серое небо.

Затем провал. Видимо, я заигрался со своими зверюшками. Несколько раз внизу пробежал колокольчик. Но вздрогнул я, только услышав мужской голос в лавке, и тут же из отверстия в полу, прерывисто дыша, выглянула матушка.

– Там вас спрашивает какой-то господин, тетя Валери... А на кухне еще не прибрано!..

– Пусть подымется.

Матушка торопливо огляделась, проверяя, не валяется ли что-нибудь.

– Вы считаете, можно его принять здесь?

– Раз я сказала!

Мадемуазель Фольен хотела было подняться подобрать свои лоскуты, но тетя ее остановила:

– Останьтесь! Секретов никаких нет...

Шаги на лестнице. Тетя, не меняя положения, все так же повернувшись бюстом к окну, произносит, как на сцене:

– Входите же, месье Ливе...

Очень крупный, полный человек с каштановой бородой и в пальто с меховым воротником. Он казался слишком крупным для нашей маленькой комнаты.

– Поддай стул, Жером.

– Жером! – позвала снизу матушка.

– Он не помешает! – крикнула ей тетя Валери. – Присаживайтесь, месье Ливе...

Впервые я почувствовал, что тетя – это сила. Естественно, что появление у нас такого человека, как господин Ливе, в пальто с воротником из выдры и кожаным портфелем под мышкой, вывело из равновесия матушку. Тетя даже не пошевелинулась. Она заполняла все кресло. Выпирала из него. И будто предвещая самую страшную кару, она грозно, как мне показалось, произнесла:

– Так вы нашли способ прижать этих негодяев?

– Видите ли...

Месье Ливе открыл портфель и достал оттуда документы.

Мадемуазель Фольен вскочила, засуетилась:

– Я освобожу стол...

– Не беспокойтесь... Я вам уже говорил, мадам Буэн, что дело это весьма щекотливое и что...

– То есть как щекотливое?.. Не станете же вы утверждать, что с такими жуликами...

– Я имею в виду не их, а закон...

Он явно был смущен. Покашливал. Могу поклясться, что гигант побаивался нашей тети.

– Прежде всего, если бы закон был справедлив, этих проходимцев давно бы упрятали в тюрьму. Сажают и не за такие дела... Подумать только, я взяла эту поганку с улицы!.. Что там с улицы! Вытащи я ее из сточной канавы, она не была бы чище... Девчонка жила с дюжиной братьев и сестер в таком хлеву, в каком не стали бы жить и свиньи! Отец каждый вечер напивался. Я поселила ее у себя, в четырнадцать лет она и читать-то не умела... Послала в монастырскую школу... Но я этим монашкам попомню!.. Кто же, как не они, обучили ее всем этим штучкам...

Месье Ливе, выжидавший паузы, чтобы вставить слово, качал головой, предпочитая делать вид, будто соглашается. Мадемуазель Фольен не смела стучать на машинке и, не желая оставаться без дела, сметывала пройму, набрав в рот булавок, и время от времени кидала испуганные взгляды на тетю.

– Элиза Трике... – начал было месье Ливе.

За столом уже называли эту фамилию, но я не обратил внимания. И в Сен-Никола я никогда не был и даже не знаю, как я тогда представлял себе эту деревню. Теперь-то я там побывал.

Довольно большое село, но фермы лежат разбросанно, и только несколько домов скучилось вокруг церкви с приземистой колокольней.

– Прежде всего, я бы предпочла, чтобы вы не упоминали при мне фамилию Трике... Элизе не следовало ее принимать. Мне не следовало соглашаться... Я не сделала бы большего для собственного ребенка...

– Вы лишили наследства своих племянников... – попытался вставить месье Ливе, все еще державший на коленях портфель.

– Этих проходимцев, еще бы! Все Буэны проходимцы. Еще не успели предать земле моего дорогого усопшего, а они уже привалили всем семейством и стали распоряжаться как у себя дома! Не останови я их, они вынесли бы всю обстановку... И хоть бы один подошел ко мне на кладбище выразить соболезнование... К тому же такие прорвы... Эх, если б знать!.. Был же другой способ не оставить им ничего. Так распорядиться своим имуществом, чтобы иметь пожизненную ренту...

Очень долго, надо признаться, слова «пожизненная рента» оставались для меня загадкой.

– Я хотела им насолить... Подобрала Элизу... Я подобрала бы первую попавшуюся соплячку с улицы... И не будь у Элизы родителей, я бы ее удочерила...

Она взглянула на мадемуазель Фольен, словно ожидая одобрения.

– Вы даже не представляете, какие гадости эти люди мне делали, – продолжала она. – Я говорю о Буэнах, племянниках мужа. С самого начала они не желали признавать во мне родню... Достаточно сказать, что их пашенки подвешивали мне к звонку дохлых кошек... Добро бы только это! Они обмазывали несчастных тварей... надеюсь, догадываетесь чем?.. Я рассчитывала, что с Элизой мне будет не так одиноко в нашем большом доме... Первые годы она не знала, как мне угодить... Такая тихоня, с исповеди возвращается, сложив ручки и потупив глаза... А на самом деле... Верно говорят: в тихом омуте черти водятся... Это у нее в крови сидело, и когда она втюрилась в Трике, так всякий стыд потеряла!.. Одна только я, дура старая, ни о чем не догадывалась... Принимала ее сюсюканье за чистую монету. «Крестенькая» – вот как она меня называла.

Я чуть не прыснул со смеху при мысли, что кто-нибудь мог называть тетю Валери «крестненькой».

– Все крестненькая да крестненькая... «Позвольте мне представить вам молодого человека, который... он такой приличный, такой серьезный... Я не переживу, если вы не дадите своего согласия...» Вот чего, месье Ливе, я не решилась изложить вам в своем письме...

Так вот что месье Ливе держал на коленях, вот что представляли листки с черной каймой, исписанные мелким почерком и исчерченные, будто ученическая тетрадь, красными чернилами.

– Юридически... – начал было он.

Но тетя еще не кончила.

– Он торговал домашней птицей... Я подумала: пусть живет, хоть будет мужчина в доме... Не то чтоб я боялась, я не из пугливых... Но в деревне всегда нужен мужчина в доме, особенно с этими Буэнами и их вечными штучками... Они поженились... Я за все заплатила... А после свадьбы они заявили, что будут жить отдельно, в домике возле церкви, который втихомолку, за моей спиной, сняли...

Мадемуазель Фольен в растерянности вращала глазами. Даю голову на отсечение, что ей потом пришлось распустить сметанную пройму.

– Вы дали крестнице дом в приданое?

– Дала, собственно, не отдавая... Только чтобы он не достался прощелыгам Буэнам...

– Но вы составили документ у нотариуса. У меня тут копия...

– Так или иначе, у нее не было ни гроша за душой, и порешили на том, что супруги будут жить со мной и содержать меня до самой смерти... Как бы не так!.. Ясно, мне же пришлось бы выкладывать денежки...

Этот лентяй Трике принялся меня всюду поносить, что-де старуха такая, старуха сякая, что я, того и гляди, подохну и тогда он сможет продать дом – хибару, как он выражался, – и оплатить все свои долги... А она, поганка, даже перестала со мной здороваться, когда мы встречались на паперти после обедни... И то сказать, скоро она и вовсе перестала ходить в церковь.

– Тем не менее дом принадлежит им; по документам вам предоставлено лишь право пользования...

– Ах, вы так полагаете?.. Нет, месье Ливе... Если вы не способны ничего сделать, я обращусь к другому поверенному... Десять раз буду судиться, если нужно... Продам все до последней рубашки, но эти проходимцы грошом не попользуются!.. Слышите?.. А если я вам скажу, что они уже заложили дом и привели людей его осматривать, улучив время, когда я пошла к вечерне?.. У них остался второй ключ... Они рылись в моих вещах... Я с ними больше не разговариваю, но они мне пишут. И заявляют, что, раз часть помещения была предоставлена им в личное пользование, они вольны эту часть сдать, а такой старухе, как мне, за глаза достаточно и двух комнат. Назло мне они затевают всякие ремонты... Присылают каменщика снять черепицу с крыши или вынуть раму; или плотника, который уносит дверь, якобы чтобы ее подновить. «Мы ей такие сквозняки устроим, что она живо окочурится», – грозился Трике в трактире.

– Трудность, – снова начал месье Ливе, – заключается в том, что вы нотариально все оформили и если не сумеете доказать...

– Я докажу, что они люди без стыда и совести, что им место в тюрьме, что...

Я прильнул к оконному стеклу. Какое-то движение на рынке. Возле главного входа оставался наклеивший и прилепил к стеклу большой белый лист. Издалека я сумел разобрать только жирную черную цифру: 20 000. И был почти уверен, что следующее слово «франков».

Тетя Валери ничего не заметила. Скрестив на животе руки, она тяжело переводила дух, не давая, однако, месье Ливе времени заговорить. Жестом она показала ему, что еще не кончила.

Не знаю почему, я встал и потихоньку спустился вниз. Наверху было тепло и сумрачно. И, как всегда по пятницам, пахло тканью. Внизу матушка, стоя у двери, разговаривала с покупательницей, и обе глядели в сторону объявления, где начинал собираться народ.

– Ты простудишься, Жером!.. Надень пальто...

Но я уже пробирался между рыночными прилавками, и дождь охлаждал мою разгоряченную голову. Я машинально обернулся. Увидел тетину юбку и ее будто забинтованные ступни. Такой вид придавали им войлочные туфли, которые тетя надрезала сверху, так как у нее отекали ноги. А рядом с ней следила за мной взглядом мадемуазель Фольен с лицом китаянки.

НАГРАДА В 20 000 ФРАНКОВ БУДЕТ ВЫДАНА ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ПОКАЗАНИЯ КОТОРОГО ПОМОГУТ НАЙТИ ВИНОВНИКА ПОКУШЕНИЯ НА ПЛОЩАДИ ЭТУАЛЬ...

На пальцах женщин налипла рыба чешуя. Торговка сыром с округлыми розовыми руками стояла почти рядом со мной, и я заметил также печальное лицо мадам Рамбюр.

Не знаю почему, мне вдруг захотелось плакать. Люди молчали. На них словно столбняк нашел. Во мне росла необъяснимая тревога, меня охватывал страх. Хорошо знакомая площадь перестала быть чем-то своим, надежным. Однако матушка стояла на пороге лавки в накрахмаленном фартуке, с тяжелой копной льняных волос. Альбера не видать было в окне. Перед кафе Костара жестикулировали мужчины.

Было темно, как в четыре пополудни, хотя часы над моей головой показывали всего без десяти десять. Дождь наносил на все штриховку.

Я не двигался с места. Чувствовал, как багровеют уши, боялся, что простужусь, и все-таки не мог уйти. Я глядел на объявление. Глядел на все вокруг и ничего не видел. Мне представлялось, что с минуты на минуту площадь наводнят конные жандармы и люди в картузах бросятся перерезать сухожилия лошадям...

А отца нет дома, и вернется он лишь поздно вечером!

Может, воздух и в самом деле был насыщен тревогой? Может, все, подобно мне, сознавали, что творится что-то неладное? Рыночная площадь, улицы, город – весь мир на моих глазах принимал ту же жесткую окраску, что картинки в иллюстрированном журнале, и в довершение всего я представлял себе чету Трике, Элизу и ее мужа, преступниками, за которыми захлопываются кованые тюремные двери.

– Жером!.. – крикнула матушка в нос: таким голосом она имела обыкновение меня звать.

Я притворился, будто не слышу. Мне хотелось остаться тут, в толпе, вертеться у взрослых под ногами, среди юбок кумушек.

Всего несколько лет спустя мне довелось пережить объявление войны, но и тогда мне не так сдавило горло и я не так остро ощутил катастрофу, как в то утро, выйдя из теплой, защищенной комнаты, где керосиновая печь отбрасывала малиновые блики на паркет.

Мне вдруг представилось, что может произойти любое, что все вокруг мрачно, жестоко, злобно, что начнется свалка, будут колотить, убивать, кататься, сцепившись клубком, в грязи.

И не знаю уж, в какой мысленной связи возглавлять весь этот беспорядок, как бы дирижировать им, должна была тетя Валери с ее толстой усатой физиономией, большим дряблым ртом и слезящимися глазками.

«В тюрьму... негодяи... проходимцы...»

Я поднял глаза. Она не двинулась с места и все еще говорила, а месье Ливе что-то писал, положив бумагу на колени и низко согнувшись.

Меня тронули за плечо, я вздрогнул. Это была мадемуазель Фольен. Я чуть не бросился бежать.

– Пора домой, Жером... Мама беспокоится... ты же простудишься...

Я вызывающе на нее посмотрел:

– А мне все равно!

Сознаю, это было глупо, но во мне бурлил непонятный дух мятежа.

Наша до сих пор такая надежная площадь сорвалась с причала, и никогда уже жизнь не станет прежней. Мадемуазель Фольен, вероятно, заметила, как я побледнел, хотя уши у меня горели.

– Пойдем, – настаивала она. – Ты слишком впечатлительный...

Она схватила меня за руку. Пыталась увести. Я уперся.

Мадам Рамбюр удалялась, чуть-чуть наклонив голову. Я слышал, как торговка сыром сказала:

– Не ее ли это сынок подложил родителям бомбу под кровать?

– Пойдем, Жером... Мне трудно тебя тащить...

Я волочил ноги по липкой от грязи рыночной мостовой. Я не хотел возвращаться. Не знаю, что еще меня удерживало.

Помню, что по пути я зацепил ногой корзину с морковью, и мадемуазель Фольен рассыпалась в извинениях перед торговкой. Матушка, отмеряя черный сатин, качала головой.

– Ничего хорошего от этого беднякам не будет, – доказывала ей простоволосая покупательница.

– Пойдем, Жером, я тебя оботру... – вздыхала мадемуазель Фольен.

Жестким полотенцем с красной каймой она вытерла мне лицо и руки, растерла мокрую голову.

На лестнице послышались шаги. Спускался месье Ливе, вид у него был недовольный. Тетя Валери, перегнувшись через перила, кричала ему вслед:

– Тем хуже для вас, если не сумеете... Я обращусь к адвокату... Но никогда, слышите, никогда эти бандиты не получат мой дом!..

Матушка проводила глазами поверенного, и ручаюсь, что его приход взволновал ее куда больше, чем объявление.

Очевидно, я поднялся наверх, потому что опять вижу себя в комнате, где тетя, снимая золотую цепочку и запирая ее в ящик, сама с собой разговаривала.

Может, я бы и не расплакался – сколько я уже сдерживал слезы, – но взгляд мой случайно упал на игрушки, и я увидел, что все разбросано, опрокинуто, жираф сломан пополам, а гиппопотам раздавлен, превращен в порошок.

– Мои звери! – крикнул я.

Тетя пробурчала:

– Не приставай ко мне со своими зверями! Нашел тоже время...

Я был вне себя, распетушился:

– Это ты их сломала!

Напрасно тетя солгала, я это сразу почувствовал.

– Месье Ливе сломал, когда уходил...

– Неправда!.. Это ты... Я знаю, это ты... Ты нарочно!..

Я кричал так громко, что было слышно внизу, и матушка, конечно, всполошилась.

– Да, нарочно... Ты думаешь, я не знаю, что ты сделала это нарочно...

Я был в этом уверен. Уверен в этом и по сей день. Я представлял себе, как взбешенная беседой с поверенным тетя Валери встает и, срывая сердце, пинает ногой игрушки.

К тому же она недолюбливала моих зверей. Еще накануне она злобно на них пялилась.

– Жером!.. Как ты себя ведешь!.. – пролепетала мадемуазель Фольен, не зная, куда деваться.

– Она это нарочно!.. Она... она...

Я искал слова. Но оно так и не пришло мне в голову, и, понимая, что в своем исступлении делаю глупость, я бросил:

– Грязная скотина!

После чего уже мог дать волю рыданиям и всласть кататься по полу среди раскиданных игрушек.

Голова и бюст матушки показались над полом. Отдавая себе отчет в размерах бедствия, она шмыгала носом.

– Не обращайтесь внимания, тетечка... Обычно...

И она тоже заплакала, а меж тем тетя Валери при помощи мадемуазель Фольен расстегивала шелковое платье и на площади кучками собирался народ.

– А ты, Жером, сейчас же ступай в постель!

– Лучше уж лечь в постель, – всхлипывал я, – чем... чем...

Кажется, проходя мимо тетушки, я попытался лягнуть ее в лодыжку. Матушка совсем потеряла голову. Она отвесила мне пощечину. Нечаянно она попала в уголок глаза, и глаз сразу покраснел.

– Идем... Позже попросишь прощения у тети!

– Не стану просить!

Меня пришлось тащить силой. Я топал ногами. Матушка сняла с меня куртку, штаны, башмаки. Она поворачивала меня, как младенца. Дверь из спальни в комнату не закрыли.

– Мадемуазель Фольен... Вы будете так любезны спуститься в лавку...

И сейчас еще вижу перед собой лицо матушки, расплывшееся, потому что гляжу на нее сквозь слезы, и слезы у нее на глазах – слезы волнения, а может, раскаяния: она впервые меня ударила.

Готовя кровать, она заметила мой покрасневший глаз и совсем растерялась: смочила в холодной воде носовой платок, пригнулась ко мне и, боясь тети, чуть слышно прошептала:

– Я тебе сделала больно?

Я покачал головой и закрыл глаза.

Когда я проснулся, было темно, сквозь полуоткрытую дверь в спальню лился свет. Жужжала швейная машинка. Керосиновая печь бросала красноватый отблеск на стоявшую на камине статую мадонны.

Я чувствовал себя громоздким и ватным, как бывает, когда жар.

IV

Я ссылался, возможно с излишней запальчивостью («Ты всегда хочешь быть правым!» – и сейчас беспрестанно повторяет матушка), я ссылался, повторяю, на свою непогрешимую память. В чем я менее уверен, признаюсь, так это в последовательности того, что мне запомнилось.

Если я необычайно четко, в мельчайших подробностях, как на полотнах примитивистов, вижу перед собой отдельные сцены, мне случается останавливаться в нерешительности, когда надо связать их между собой, дабы восстановить всю цепь событий. И отдельные провалы, по контрасту с окружающим их резким светом, в какой-то мере настораживают.

И вот я дошел до такого провала. Заранее мне его не было видно. Я был убежден, что все прекрасно связывается.

Я лежу в постели, хорошо... Стучит швейная машинка... Стало быть, мадемуазель Фольен у нас... И стало быть, это пятница... Я слышу также унылое бормотание старушечьего голоса, какое иногда улавливаешь, проходя мимо исповедальни. Это тетя Валери перечисляет свои обиды.

И сразу же затем встает другая картина: я с повязанным вокруг шеи фуляровым платком (значит, боялись, что я простудился) стою у окна полумесяцем. Мадемуазель Фольен не крутит машинку, а сметывает что-то на руках; тетя Валери болтает; от печи идет тепло и запах керосина; я вижу на улице три карбидные лампы на прилавках, где торгуют рыбой.

Все словно подтверждает, что это тот же самый день. Однако не помню, чтобы я встал с постели и из спальни родителей перешел в комнату. И еще одна подробность смущает. Перед тем как отправить меня в постель, говорили, что я должен буду извиниться перед тетей. Мне это даже снилось. И спал я потому беспокойно. А сейчас о том нет и речи. Тетя не обращает на меня ни малейшего внимания.

Может, это все-таки не тот день? Минуту назад я непременно стал бы утверждать, что тот, настолько все естественно вытекает одно из другого; но жизнь научила меня, что события как раз никогда не сцепляются, как шестеренки, и всегда возможны необъяснимые паузы.

Но если даже это не тот самый день, значит следующая пятница, поскольку мадемуазель Фольен приходила шить только по пятницам. Проболел ли я всю неделю? Не думаю. Неужели жизнь нашей семьи, жизнь площади внезапно стала до того бесцветной, что мне решительно не за что ухватиться. Можно бы, конечно, расспросить матушку, да что толку, когда ей ничего не стоит ошибиться даже на целый год.

И потом, это ничего не меняет. Важно не перевернуть факты, которые я здесь излагаю, а насчет этого я ручаюсь.

Лил дождь. Лил черный дождь. Я стоял. Не сидел, по своему обыкновению, на полу, окруженный игрушками, а стоял. Фуляровый платок (старый, весь посекавшийся платок отца, им теперь повязывались, только когда болело горло) приятно грел мне шею. Толстая торговка рыбой, которую все звали Титиной, невзирая на дождь, плескала из ведра на прилавок, чтобы придать вид товару.

Титина была такой же тучной, как тетя, но намного ниже ростом и с крохотным пучочком седых волос на макушке. Рыночная балагурка, она, на потеху всем, задирала прохожих, потчевала их хлесткими прибаутками, от которых весь ряд покатывался со смеху.

По словам матушки, это были не настоящие торговки; после обеда рыночная площадь поступала в распоряжение перекупщиц с их карбидными лампами. Зимой они торговали только рыбой и ракушками, летом, с наступлением фруктового сезона, их полку прибывало.

Сейчас мне припомнились кое-какие забытые подробности. Титина, не знаю уж почему, мне благоволила и, когда я проходил мимо, окликала по-базарному крикливым голосом:

– А ну-ка, подойди, с-нок!..

Погружала руку в ящик или корзину и совала мне горсть ракушек-побережниц или серых креветок.

Иногда матушка видела это в витрину.

– Ты их съел? – допытывалась она, когда я возвращался.

Все, что покупалось на рынке утром, считалось заведомо доброкачественным, тогда как к товару перекупщиц относились с опаской.

– Ну смотри!.. Вот не слушаешься!.. И дождешься, схватишь когда-нибудь брюшняк!..

Сквозь сумерки, на прежнем месте, наклеенное на стене рынка, все еще виднелось объявление. Но может, оно провисело там уже неделю? Осталась же на противоположной стене старая афиша гастролировавшего прошлым летом цирка!

Меня также удивляет, что я пропустил мимо ушей все разглагольствования тети и даже затрудняюсь припомнить общий смысл ее рацеи.

Однако же я хорошо помню, что меня что-то тогда поразило, что-то совсем необычное, и я внимательно оглядел всю площадь, стараясь догадаться, чего же недостает. И сейчас вижу часы, показывавшие десять минут шестого. Вижу за матовыми стеклами силуэты посетителей кафе Костара. Даже вижу аптекаря с седой бородкой, наклонившегося над прилавком и растирающего в ступке какие-то снадобья.

И тут я поднял глаза... И понял. Необычным было окно моего друга Альбера – да-да, я назвал его своим другом Альбером, хотя ни разу с ним не разговаривал.

На окне Рамбюров не было настоящих гардин. Но вечерами, когда они садились ужинать, всегда в одно и то же время, мадам Рамбюр подходила к окну и завешивала его, прицепляя к кольцам черный лоскут – вероятно, остаток старого платья.

А в тот вечер – не важно, в ту или другую пятницу, поскольку я не уверен, – хотя было всего десять минут шестого, черный лоскут уже болтался на месте. Это было бы понятно в субботу, когда окно занавешивали раньше, чтобы выкупать Альбера. Я всегда следил за приготовлениями. Как сейчас, помню оцинкованную лохань и два кувшина с горячей водой, чистое белье, которое мадам Рамбюр аккуратно выкладывала на спинку стула.

Но поскольку мадемуазель Фольен у нас шила, значит была пятница, и я в недоумении, почти даже в страхе уставился на черную ткань.

Мадемуазель Фольен села с нами ужинать. Это случалось нередко. Вообще-то, ей полагалось уходить в семь, но она задерживалась, всегда требовалось что-то закончить.

– Не обращайтесь на меня внимания... – отнекивалась она. – Садитесь за стол... Мне работы на пять минут...

Но все отлично знали, что ее пять минут растягивались до девяти часов вечера, и если бы допустить, то она просидела бы и до поздней ночи.

Она казнилась, что матушка кормит ее лишней раз. Боялась, как бы ее не сочли нахлебницей, и всегда садилась на кончик стула, положив цыплячьи ручки с остренькими пальчиками на самый край стола.

Отец в этот час обычно был возбужден, сидел покрасневшийся, с блестящими глазами, но не потому, что выпил, – не думаю, чтобы он пил, – а просто после целого дня, проведенного на воздухе, на ветру, под дождем. В духоте нашей крохотной кухоньки его сразу разбирало.

Руку на отсечение даю, что в тот день на ужин были свиные отбивные с брюссельской капустой.

– Мне половиночку, – жеманничала мадемуазель Фольен с «изысканной» миной, для чего складывала губы сердечком; точно с такой же миной матушка обслуживала лучших клиентов.

– Но зачем же, мадемуазель Фольен! Тут на всех хватит...

Тогда, по обыкновению, она все же разрезала отбивную пополам. И, дождавшись минуты, когда на нас никто не смотрит, украдкой перекладывала половину мне на тарелку.

– Тсс!.. В твои годы надо набираться сил...

Я знал, что немного погодя она поступит точно так же с рисовыми котлетами. Прямо какой-то пунктик. Отца это корбило, но вмешиваться он боялся. Это было тем более нелепо, что у нас действительно не считались с едой; не считались еще и потому, что большинство рыночных торговек были нашими покупательницами и уступали нам все по дешевке.

Урбен уже ушел со своим котелком и, верно, пристроился ужинать где-нибудь в уголке конюшни.

– Когда ты соберешься в Сен-Никола? – вдруг спросила тетя.

– В понедельник, – ответил отец: он, казалось, чем-то озабочен.

– Мне хотелось бы, чтобы ты разузнал... Насчет месье Ливе... Я, правда, подозревала, что он такой же каналья, как и остальные... Все поверенные – каналы, а нотариусы в особенности!..

Никогда я не слышал, чтобы кто-нибудь произносил слово «каналья» так, как тетя Валери. Ее большой усатый рот дробил его и выплевывал, будто случайно попавшийся гнилой орех. Она грузно сидела на стуле, огромная, шарообразная, рыхлая и в то же время чугунно тяжелая, загораживая всем тепло от плиты, и переводила свои вечно слезящиеся глаза с одного на другого.

– Я уверена, что он тайком от меня побывал в Сен-Никола, виделся с Элизой и ее Трике... Конечно, он не признается, но я убеждена, что он с ними виделся... Что они ему наобещали, мне неизвестно, а впрочем, догадаться не трудно... Так или иначе, он на их стороне... Ты наведешь справки... Его не могли не заметить...

Мадемуазель Фольен совсем съежилась в комочек и не смела жевать, даже дыхнуть боялась. В тот вечер все домашние казались какими-то измученными.

– А когда ты поедешь в Кан...

– В среду или в четверг, – перебил ее отец.

– Захватишь меня с собой... Мне дали адрес адвоката. Мы вместе пойдем к нему... Я расскажу ему все как есть. Что я ни в коем случае не желаю, чтобы дом достался этим людям – ни дом, ни деньги, – и что я хочу завещать все вам...

Наступило молчание, про которое говорят: «Тихий ангел пролетел...»

Матушка и отец избегали смотреть друг на друга, потом все же обменялись взглядом, украдкой, словно в этом было что-то дурное.

– Еще немного капустки, тетя...

– Спасибо! Она мне не по желудку.

По-моему, я стал еще краснее, чем отец. Как это я раньше не подумал! Я ни о чем не думал! Беспрекословно принял как должное непонятное вторжение в наше и без того тесное жилье тети Валери, которая к нам раньше носа не казала, и слова отца: «Не повторяй то, что слышал...»

Но что такого я мог слышать? А портрет, который так спешно вставили в рамку и повесили на самом видном месте над камином и Мадонной!

Что я слышал?.. Какая-то история с домом, теперь я начал припоминать. Несколько раз за столом заходила речь о каком-то доме, который должен нам достаться по наследству, а потом уже не должен был достаться...

И это слово «дом» звучало у нас по-особенному. Впоследствии я не раз об этом размышлял... Теперь я знаю, что дом тети Валери в Сен-Никола, вероятно, стоил по тем временам тысяч тридцать, поскольку к нему примыкал луг, который сдавался соседям-фермерам.

Родители мои не нуждались в этих тридцати тысячах франков. С тринадцатилетнего возраста – сначала со своим отцом, потом с Урбеном – батюшка круглый год, во всякую погоду и, за редким исключением, всякий день, объезжал ярмарки в округе; я видел его дома лишь

вечерами и за ужином. Матушка тоже с первого дня замужества только и делала, что бегала из кухни в лавку и обратно, так что мы, очевидно, жили в относительном достатке.

Однако мы не были *домовладельцами*! А слово это тоже было словом совсем особого рода, не похожим ни на одно другое.

Чтобы в этом убедиться, достаточно было услышать, как матушка вечерами провозглашала:

– Только что видела домовладельца...

– Он заходил?

– Нет... Заглядывал сквозь витрину. Ну как всегда...

Что правда, то правда: месье Реноре был личностью даже устрашающей. Ему принадлежала почти половина всех домов на площади, когда-то составлявших одно целое, если не ошибаюсь – почтовую станцию. Дом, в котором жил Альбер с бабушкой, тоже был частью этого целого, равно как аптека и кафе Костара. Сам же месье Реноре занимал старинный особняк с въездными воротами на улице Сен-Жан, сохранившим вделанные в стены поставцы для факелов и тумбы, с которых садились в седло.

Месье Реноре был тощий, с белыми волосами, белым, цвета слоновой кости, лицом, длинным носом и длинными тонкими губами; все черты заостренные, как у мертвеца. Я ни разу мертвецов не видел, но был твердо убежден, что месье Реноре похож на мертвеца.

Зимой он ходил в шубе с каракулевым воротником и вечно держал в руке трость с серебряным набалдашником.

Поговаривали, что дома принадлежат не ему, а иезуитам и что сам он вроде тоже как бы иезуит. Дважды или трижды в неделю он прогуливался или, вернее, делал обход, медленно шагая и на каждом шагу откидывая назад корпус. Он ни с кем не раскланивался. Подойдет к витрине и подолгу стоит смотрит, что было уже совсем смехотворно: мужчины ведь не интересуются коленкором, готовым дамским платьем и галантереей.

Стоило матушке почувствовать, что он там, стоило сквозь витрину различить его силуэт, как у нее начинали трястись руки. Она совершенно терялась. Не знала, что отвечать покупательницам, и, уверен, иной раз, отмеряя ситец, сбивалась со счета.

Что он рассматривал? Во всяком случае, не матушку, потому что затем он точно так же останавливался перед мучным лабазом, где вообще не было женщины-продавщицы. Приходил ли он удостовериться, что мы не испортили его дом или что торговля идет достаточно бойко и мы сможем уплатить арендную плату?

– Как это так, чтоб не добиться купчей недействительной! – опять взялась за свое тетя Валери. – Прежде всего, они не выполнили своих обязательств, раз не стали жить со мной в доме, как договорились...

– Они письменно обязались? – осведомился отец.

Мне стало за него неловко. Я предпочел бы, чтобы он вообще не интересовался всей этой историей с домом.

– Не письменно, но об этом говорилось в присутствии нотариуса, составившего договор... Он тоже каналья, но на суде ему придется повторить то, что он слышал!..

– Но вы ничего не кушаете, тетя... И вы тоже, мадемуазель Фольен.

Матушка любила, чтобы люди за столом ели. Она насильно накладывала им еду на тарелки, подобно тому как мадемуазель Фольен накладывала мне.

– Дом и обстановку я завещаю вам... У меня имеется еще некоторая сумма в банке, ее я отпишу вам перед смертью...

Какая же все-таки это была пятница? Нет, положительно не помню. Но не странно ли, что ни об утренней сцене, ни о сломанных игрушках, ни о пощечине разговор не поднимался...

Дальнейшее почему-то смешалось. Может, меня клонило ко сну? Мадемуазель Фольен надо было что-то дошивать в комнате, и меня не сразу уложили в постель. Ставни в лавке закрыли. Лишь во фрамуге над дверью виден был клочок мрака и дождевые капли.

В углу лавки, возле винтовой лестницы, помещалась конторка, отец на нее облокотился. Тетя Валери осталась на кухне. Матушка раскладывала по полкам штуки полотна. Время от времени отец задавал вопросы:

- Мадаполам «СХ двадцать семь» еще остался?
- Оставалось самая малость. Я только что продала...
- А широкий миткаль?
- Сегодня начала последнюю штуку...

Значит, был день заказов.

– Представитель «Детриве и сыновья» не заезжал? Были жалобы на его перкаль в цветочек – краска никудышная...

Тетя, раскачавшись, стронулась с места и башней воздвиглась между прилавками, не зная, с кем бы заговорить: матушка торопливо сворачивала штуки, отец писал, а мадемуазель Фольен сотрясала потолок швейной машинкой.

Меня же целиком поглощало слово «дом»; в этом коротеньком словечке мне слышалось в тот вечер что-то нехорошее и даже немного постыдное. Я не помню, как отправился спать, а ведь должен же я был, по заведенному порядку, поцеловать матушку, а потом отца в колючие усы.

Обсуждали, нет ли потом родители в постели все эти перипетии с нотариусом, адвокатом и господином Ливе?

«Теперь ты видишь, Жером, что ошибаешься, – торжествовала бы матушка. – Дети всегда такого навывдумывают!...»

Однако я не ошибаюсь. Вот как это произошло. Почему я встал раньше обычного, объяснить не сумею. Впрочем, что тут особенного? Может быть, я захворал?

Или же... Ну конечно! Скорее всего, это именно так. Иногда у нас делали так называемую генеральную уборку. И тогда приглашалась поденщица. Она приступала к работе очень рано, еще до отъезда отца, чтобы успеть прибраться в лавке к открытию. Матушка, повязав голову черной в белый горошек косынкой, помогала ей. А когда они добирались до кухни, бежала наверх переодеться и занимала свое место за прилавком.

Вероятно, так оно и было. В таких случаях мне приносили завтрак наверх: в кухне, перед тем как приняться за мойку пола, стулья громоздили на стол и всю мебель сдвигали в угол.

Оттого-то мы с тетей Валери и оказались в половине восьмого наверху в комнате, возле окна полумесяцем, а на улице было еще темно и горели фонари.

Что мне хорошо запомнилось, так это общий вид рынка, потому что суббота была базарным днем. Все четыре выходящие на площадь улицы были битком забиты окрестными крестьянками, примостившимися возле корзин и клеток с курами и кроликами.

Двуколки стояли за крытым рынком, и оттуда доносились стук копыт и ржание.

Дождь, как ни удивительно, перестал. Мостовая еще была совсем сырой и черной, так же как и квадратная шиферная крыша рынка. Но что сразу бросалось в глаза и меняло всю картину, так это туман, его едва пробивал желтый ореол газовых фонарей.

Похолодало. У прохожих покраснели носы, и они то и дело их утирали. Дверь аптеки стояла настежь, старуха-поломойка гнала грязную воду к порогу. Я ее как сейчас вижу: она повернута ко мне спиной, зад торчит в воздухе, а голова почти у самого пола, и рядом сероватое ведро.

Возчики тащили ящики, корзины, разгружали фургоны. Это был час крупных сделок, когда на рынке распоряжаются оптовики, а в городских квартирах хозяйки еще варят утренний кофе и составляют список покупок.

– Достаточно греет?

Матушка вихрем взлетела по лестнице. Оглядела комнату, удостоверилась, что горелка в керосиновой печи не коптит, потому что тетя и не подумала бы проверить.

– Вам ничего не нужно?.. Из-за тумана придется снова протирать стекла...

Я не знал, отчего придется снова протирать стекла, и эта пустяковая загадка на миг заняла все мои мысли.

– Если вам что-нибудь потребуется, тетя, пожалуйста, не стесняйтесь, сразу же зовите... А ты постарайся быть умником... Ничего, после рождественских каникул опять пойдешь в школу. Сейчас уже нет смысла...

Утренние посетители кафе Костара отличались от вечерних. Утром за вечно грязные столы садились перекусить огородники, возчики, крестьянки, и в набитом людьми зале стоял гул голосов и густой запах пищи.

Я увидел, как приближалась четверка людей. Все, кроме одного, были мне незнакомы, но я сразу почувствовал всю необычность их появления на рынке. Один, длинный и худой, в пальто безупречного покроя и с моноклем, был, видимо, важное лицо. Шагавший рядом с ним толстый коротышка, жестикулируя, что-то объяснял. Другие двое, попроще, держались несколько поодаль, будто ожидая приказаний.

Они пробирались сквозь рыночную толчею, стараясь не запачкаться, и, поискав местечко потише, остановились все четверо под часами, то и дело поглядывая в сторону мучного лабаза.

Дважды или трижды длинный с моноклем доставал из кармана часы и нажимал пружину, отчего крышка резко отскакивала.

Где пропадала тетя Валери? В эту минуту ее не было возле меня. Скорее всего, она была в уборной, куда спускалась дважды в день, всегда в определенный час, и откуда выходила со счастливым вздохом.

Еще взгляд на карманные часы. Я, со своей стороны, посмотрел на большие рыночные – они показывали без одной или двух восемь. Длинный худой подал знак. Толстый коротышка в сопровождении двух других двинулся с места, лавируя между корзинами и прилавками; одного из своих спутников он оставил на тротуаре перед мучным лабазом, а со вторым вошел в при-мыкавший к лавке узкий коридор, откуда лестница вела к моему другу Альберу.

Матушка сказала бы, что стояла кладбищенская погода. Все серовато-белое, смутное, расплывчатое, нереальное, даже звуки какие-то приглушенные, не как в другие дни.

Лабазник в черной шелковой ермолке на лысом черепе вышел из лавки и заговорил с оставшимся на улице человеком. Не знаю, что он ему сказал. Не знаю, что тот ответил, но он посмотрел на окно полумесяцем мадам Рамбюр.

И тут, мало-помалу, так незаметно, что я, глядевший во все глаза, не сумел бы объяснить, как и с чего это началось, прохожие стали поднимать голову и останавливаться. Не успел я посмотреть на окно Альбера, как перед домом уже собралась целая толпа.

Черная занавеска была снята. Комнату освещала керосиновая лампа, так как на втором этаже не было газа. Альбер сидел в своем креслице – такое, обтянутое гранатовым репсом, кресло мне самому до смерти хотелось иметь. Он был в кальсончиках, и бабушка натягивала на него штаны.

Только когда она так вот наклонялась, я видел ее всю целиком. Сама она уже была одета; я ни разу не застал ее непричесанной или в халате.

Она как будто говорит? О чем это они толкуют? Подняла голову. Вероятно, стучат в дверь? Потом мадам Рамбюр исчезла. Я увидел мужские ноги, черные штиблеты, черные

брюки. Про моего друга Альбера совсем забыли, он так и остался сидеть в наполовину надетых бархатных штанах.

– Что там такое происходит? – спросила вошедшая в эту минуту тетя Валери.

Я вздрогнул, будто меня поймали с поличным. Между тем многие посетители вышли из кафе, и по крайней мере полсотни человек уже стояли на тротуаре, задрав голову кверху.

– Не знаю...

– Похоже, что-то случилось. Сходи узнай... Хотя нет... Еще простудишься, и твоя мать скажет, что это я виновата.

– Я узнаю.

– Жером!.. Не надо... Ты...

Внизу, когда я собирался уже выскочить на улицу, матушка удержала меня за руку.

– Ступай наверх, Жером. Такие зрелища не для тебя...

– Почему?

– Нипочему... Ступай наверх!.. Вот и тетя тебя зовет!

Сколько времени я пробыл внизу? Когда я вновь занял свой пост у окна, Альбер сидел уже в штанишках. Я видел ноги лишь одного из двух мужчин. Где же второй?.. Вот он вышел и позвал оставшегося перед домом коллегу. А четвертый, тот, что с моноклем, он по-прежнему неподвижно стоял под часами, словно бы руководя всем издали.

– Похоже, что полиция... – пробормотала тетя Валери.

Я-то ни минуты не сомневался, что полиция; того агента, что остался ждать на тротуаре, молодчика с длинной шеей и торчащим кадыком, я просто знал: иногда он появлялся на рынке и составлял протоколы.

Не все торговки оставили свои места за прилавком. Что бы ни случилось, торговля должна идти своим чередом, но все же тут и там собирались кучки людей, и видно было, что они ожесточенно спорят.

Но что же делали те трое в комнате? Один вышел, что-то доложил человеку в монокле и побежал в противоположную сторону.

Торговка сыром напротив нашей лавки хлопала себя толстыми руками по бедрам, чтобы согреться. А тетя, пододвинув кресло к окну, отчего мне сразу стало хуже видно, причитала:

– Все это плохо кончится... Уж раз началось... Канальи все до единого, вот оно что... Поддай-ка мою шаль, Жером...

Это продолжалось битых два часа. Туман не рассеивался. Люди двигались в сыром облаке, из носу у них текло, руки коченели, хозяйки с сетками и сумками ходили от прилавка к прилавку, шупая и прицениваясь, чтобы потом с горделивым видом отойти под насмешки торговков. По-моему, никто лучше меня не изучил все жесты, всю игру физиономий женщин, закупающих на рынке припасы, – и тех, что приходят сюда со служанкой, и тех, которые, подобно мадам Рамбюр, полчаса колеблются, прежде чем купить несчастную парочку камбал, мысленно предаваясь мучительным подсчетам.

Но как появились здесь те, другие? Кто им сообщил? Откуда они взялись? Во всяком случае, неподалеку от кафе постепенно собралась кучка мужчин – мужчин в картузах, плохо одетых, с жесткими лицами, из тех, что в моем представлении перерезают сухожилия лошадям или шагают по улицам, неся транспаранты.

И почти одновременно с ними появились полицейские в форме, прогуливавшиеся взад и вперед с делано небрежным видом и не спускавшие с них глаз.

И те и другие насторожены, но они словно подбивали друг друга, словно бросали друг другу вызов:

– А ну, посмей, начни!

– Нет, это вы начните!

Тетя, подойдя к лестнице, крикнула:

– Генриетта!... Генриетта!

– Иду!..

Матушка прибежала расстроенная.

– Что там случилось?

– Никто не знает... У мадам Рамбюр на квартире полиция, делают обыск. Наверное, из-за сына... Простите, тетя, но в лавке народ...

В половине одиннадцатого полиция наконец ушла; не полиция в форме, а те двое, что с восьми утра находились в доме и чьи штиблеты и брюки я то и дело видел; почти полчаса они сидели, беседуя с мадам Рамбюр, и толстяк держал на коленях записную книжку.

Господин с моноклем удалился один, словно не имел с теми ничего общего, но наверняка они где-нибудь подальше встретились, и теперь-то я не сомневаюсь, что это был какой-то высший чин, не исключено даже – помощник префекта.

Три... пять... шесть полицейских! К одиннадцати часам их стало уже восемь; они прохаживались парами, стараясь занять весь тротуар, и я догадывался, что они повторяют:

– Проходите... Проходите... Не задерживайтесь...

Небо приняло грязно-желтый оттенок, словно сегодняшние волнения на рынке испачкали даже туман, и я заметил, что фонари не погашены, что тоже придавало этому дню нечто совсем необычное.

Неожиданно мадам Рамбюр подошла к окну и повесила черную занавеску. А что же делает Альбер в темной комнате, недоумевал я, не сообразив, что можно зажечь лампу.

– Я всегда говорила... Когда эта шваль начинает требовать и ей все спускают...

Время от времени тетя Валери после очередного вздоха бросала какую-нибудь такую фразу:

– Газеты еще нет, Жером?

Торговля шла. Рынок жил своей привычной жизнью. Только что появившиеся домашние хозяйки с удивлением поглядывали на полицейских – уж очень их было много – и не без тревоги озирались на кучку неизвестно откуда взявшихся людей, чья молчаливая усмешка походила на угрозу.

В тот день я не вспомнил ни о своей игрушечной мебели, ни о зверях. Не знаю даже, приносила ли матушка мне в десять часов гоголь-моголь, которым меня подкармливали, ибо, по ее словам, я не отличался крепким здоровьем.

Как мне сейчас кажется, дети настолько сильно и остро все воспринимают, что воспринимать длительное время они просто не способны, этим, вероятно, и объясняется новый провал в моей па-мяти.

Четкие картины и впечатления возникают у меня вновь лишь с той минуты – думаю, что было около трех часов, так как почти совсем стемнело, – когда матушка в ответ на повторные требования тети, кричавшей ей в лестничную клетку, принесла наконец наверх свежий номер газеты.

Тетя Валери накинулась на газету со свирепой жадностью, словно это был корм, которого она заждалась. Она потребовала, чтоб я подал ей очки. И даже не потрудились протереть стекла, хотя одно совсем засалилось.

– Слушай, Жером...

«С первых дней расследования сыскная полиция была убеждена, что покушение на площади Этуаль совершено анархистом-одиночкой. Бомба, хотя и большой разрушительной силы, о чем можно судить по последствиям, изготовлена кустарно, что исключает предположение о группе террористов.

Кроме того, к приезду высокого гостя были приняты особые меры предосторожности, и можно утверждать, что все подозрительные лица, принадлежащие к известным группировкам, были взяты под надзор или подверглись превентивному аресту.

Вчерашний день многие из находившихся на месте преступления были вызваны на улицу Соссэ. Напомним, что, если преступнику и удалось скрыться, воспользовавшись паникой, его все же видели стоявшие рядом люди, в частности целое семейство с авеню де Тери, которое забралось на лестницу-стремянку.

В течение долгих часов полиция, с присущим ей при такого рода опросах терпением, предъявляла людям, которые могли видеть убийцу, сотни фотографических карточек подозреваемых.

Можем сообщить, что по меньшей мере пять свидетельских показаний сходятся в опознании одного лица, уроженца французской провинции, который уже однажды заставил о себе говорить при подобных же обстоятельствах.

Речь идет об одном выходе из почтенной семьи, но в настоящее время мы лишены возможности дать более подробные сведения, дабы не помешать работе полиции.

Всюду разосланы соответствующие инструкции.

Мы надеемся в ближайшие дни сообщить нашим читателям все подробности этого дела, по счастью, не имевшего в международном плане тех последствий, которых можно было опасаться...»

Там встречалось много непонятных мне слов. Тетя Валери по два и по три раза перечитывала особенно понравившиеся ей фразы.

– Без сомнения – сын! – злорадно заключила она.

Она имела в виду утренний обыск у Рамбюров. Но сын – для меня это был Альбер. Я ничего не понимал. И совершенно опешил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.